

**НОВОСТИ  
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

**ГЕРБЕРТ ДЖ. УЭЛЛС**

# **НЕУГАСИМЫЙ ОГОНЬ**

**ИЗД-ВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“  
ПЕТЕРБУРГ — МСМХХII**

Герберт Дж. Уэллс. — НЕУГАСИМЫЙ ОГОНЬ













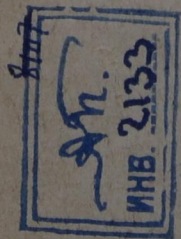
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ГЕРБЕРТ УЭЛЛС

H. G. WELLS

1866

# НЕУГАСИМЫЙ ОГОНЬ



ПЕРЕВОД З. ВЕНГЕРОВОЙ  
ПОД РЕДАКЦИЕЙ И С ПРЕДИ-  
СЛОВИЕМ Е. И. ЗАМЯТИНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ПЕТЕРБУРГ МСМХХІІ



1575-48

Отпечатано 6.000 экз.  
в 1-й Гос. Типографии  
Р. Ц. № 573 Петербург.

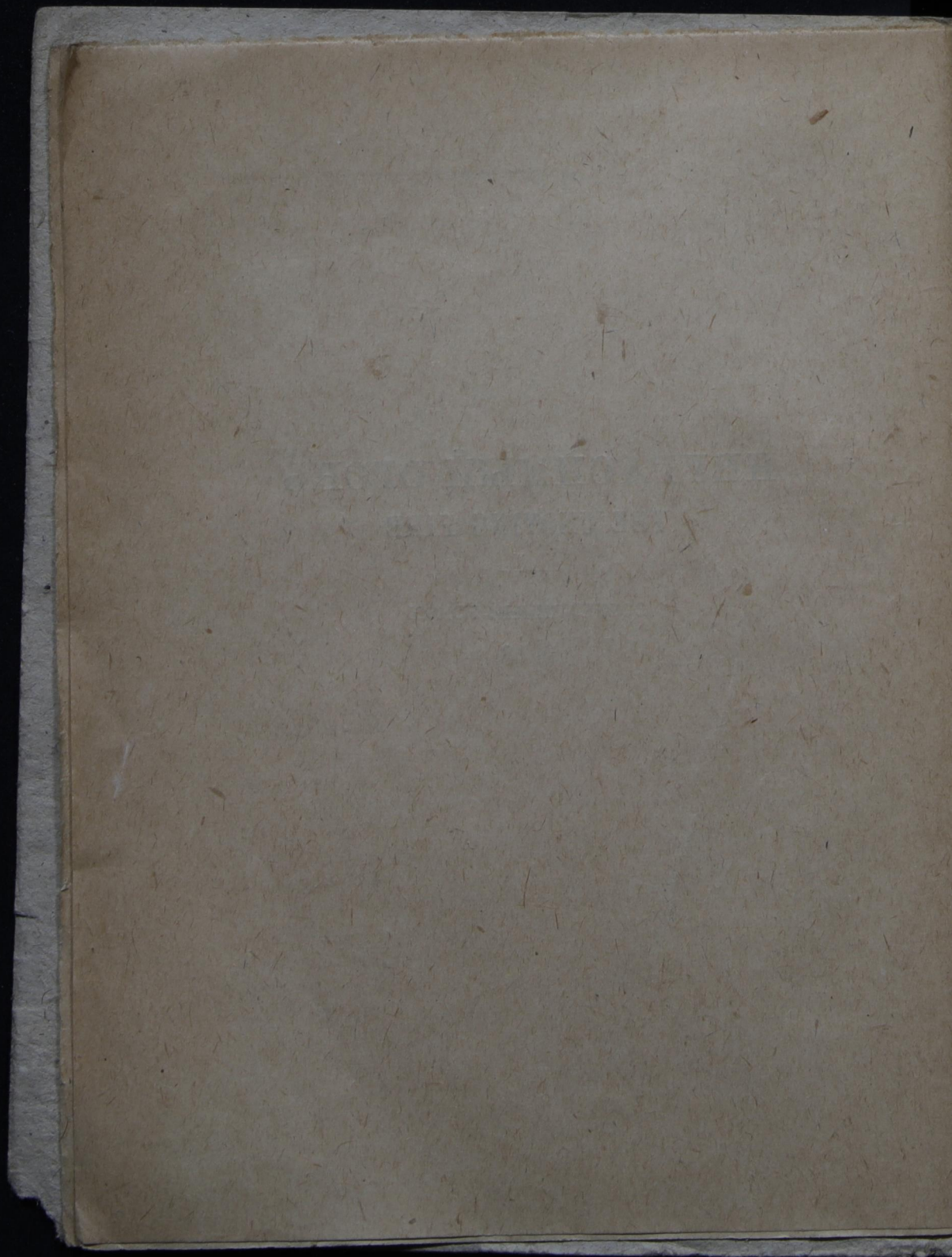
НЕУГАСИМЫЙ ОГОНЬ  
THE UNDYING FIRE

---

СОВРЕМЕННЫЙ РОМАН

1918





## ПРЕДИСЛОВИЕ

Кто же не знает Уэллса? Кто не помнит чудесные его сказки о морлоках и Элоях, о марсианах и лунных людях, о новейшей химической шапке-невидимке, о проснувшемся спящем, о войне в воздухе? Кто забыл его причудливую и научную, лукаво-логическую и насмешливую фантастику, его аэропланы, дирижабли, лаборатории, машины, огромные будущие города, полные рева, гула, жужжания, проводов, колес, граммофонов, газет, реклам?

И вот, оказывается, мы все-таки еще не знаем Уэллса. Вы разворачиваете последние его романы—и вдруг там, на асфальтовых тротуарах, среди бензиновых фимиамов, красных знамен, патентованных средств и людей в котелках—вы встречаете... Бога. Социалист, математик, химик, шоффер, аэропланнй пилот—вдруг заговаривает о Боге. После его научно-фантастических и реалистических романов—вдруг трактат: «God the invisible King»—«Бог—невидимый король»; и роман «The Soul of a Bishop»—«Душа Епископа»—о религиозном повороте в душе англиканского священника; и роман «Joan and Peter»—«Джоана и Питер», где герой Питер ведет диалог с Богом; и роман «The Undying Fire»—«Неугасимый огонь», в сущности, не роман, а спор о Боге.

Этот, неожиданный как будто, поворот Уэллса к религиозным темам произошел недавно, в наши последние дни - годы, с началом мировой войны, с началом европейских революций, и это объясняет все. Случилось только то, что вся жизнь сорва-



лась с якоря реальности и стала фантастической; случилось только то, что осуществились фантастичнейшие из прозрений Уэллса, фантастика свалилась сверху на землю. И, естественно, неугомонному авиатору надо неизбежно лететь куда-то еще выше, еще дальше, на самое верхнее небо. Нелепая, как будто, война, неоправданная, как будто, гибель миллионов людей, перед многими поставила мучительный вопрос: зачем? За что? Не есть ли вся жизнь просто бессмысленный хаос? И от этого вопроса, конечно, не мог уйти и Уэллс.

Разрешает его он, как и надо было ожидать, отрицательно: нет, жизнь не бессмысленна, нет, в жизни все же есть смысл, и цель, и мудрость. И, оказывается, еще очень давно, в 1902 году, в своих «Прозрениях» он писал: «Можно признавать, или, что вселенная едина и сохраняет известный порядок в силу какого-то особого, присущего ей качества, или же можно считать ее случайным агрегатом, не связанным никаким внутренним единством. Вся наука и большинство современных религиозных систем исходят из первой предпосылки, а признавать эту предпосылку для всякого, кто не настолько труслив, чтобы прятаться за софизмы, признавать эту предпосылку—и, значит, верить в Бога. Вера в Бога означает оправдание всего бытия...»

Так на фундаменте разумности, целесообразности всего бытия Уэллс строит храм своему Богу—и рядом, на том же фундаменте, воздвигает свои научные лаборатории, свои социалистические фаланстеры. И вот такой, как будто неожиданный, такой, как будто непонятный, поворот Уэллса к религиозным темам—становится понятным.

Первый из упомянутых романов Уэллса о Боге—это «The Soul of a Bishop»—«Душа епископа». В написанном для Издательства «Всемирная Литература» предисловии к переводу своих сочинений Уэллс называет этот роман «ироническим отражением перемен, происшедших в англиканской церкви под напором времени». Но, именно, иронии то здесь меньше, чем где-нибудь у Уэллса, и чувствуется, что автор еще раз для себя

решает вопрос: годится ли ему английский, достаточно чопорный и лицемерный Бог? Наполовину реальное, наполовину фантастическое содержание романа очень ясно отвечает на этот вопрос. Перед читателем — достопочтенный английский епископ, богатый, счастливый в семейной жизни, делающий великолепную карьеру. Как будто все хорошо, как будто нечего желать. Но у епископа заводится что-то в душе — маленькое, незаметное, как соринка в глазу. И соринка не дает покоя ни днем, ни ночью, соринка вырастает в мучительный вопрос: да есть ли тот Бог, которому служит епископ? И есть ли этот Бог тот самый Христос, какой заповедал все отдать неимущим? Епископ пробует лечиться у одного, другого психиатра и, наконец, попадает к молодому врачу, одному из излюбленных Уэллсом дерзких научных революционеров. Этот начинает лечить епископа совершенно по иному, чем все: он не тушит, а, наоборот, раздувает беспокойное пламя в душе епископа; он снабжает епископа чудесным эликсиром, который подымает его дух до состояния какого-то экстаза, уводит его из нашего трехмерного мира в мир высших измерений, и епископ своими глазами видит Бога и беседует с Ним один раз, другой и третий. Этот Бог совсем не тот, какому до сих пор служил епископ, и епископ уходит от старого Бога, уходит от богатства, уходит от семьи. Епископ становится в ряды религиозных и социальных еретиков, в ряды тех людей, для которых все правительства в мире знают одно лекарство — тюрьму.

• Теологические мотивы второго романа — «Джоана и Питер» и третьего — «Неугасимый огонь» — близко связаны между собой: в обоих человек выступает обвинителем Бога, создавшего зло и допускающего в мире существование зла, и в обоих обвинители (Питер — в одном романе, и мистер Хасс — в другом) приходят к выводу, что во всех несчастьях — виноват сам человек, и уничтожить зло — это дело единого миллионнорукого человечества.

Весь израненный, изуродованный после боя с немецким авиатором, Питер в бреду бросает Богу упрек:



— Отчего Ты не проявляешь себя? В мире так много зла... Эта ужасная трата жизней на войне... Как Ты можешь переносить всю эту жестокость и грязь?

— А что? Это вам, людям, не нравится?

— Нет.

— Тогда измените все это.

И дальше современный Бог излагает новую, современную главу теологии: «Я вовсе не самодержавный злой тиран, как некоторые из вас думают; если бы это было так, я бы уже давно тебя первого пристукнул громом. Нет, я управляю на демократических началах и предоставляю вам самим работать за себя. Я вам не мешаю. Отчего вы, например, не уничтожаете своих королей? Вы можете». Люди могут, но они недостаточно хотят.

И Питеру становится все более ясным, что «Великий Древний Экспериментатор» прав и мудр; зло так же целесообразно в космическом организме, как боль в организме человека: это — предупреждение, что надо торопиться лечить болезнь.

Бог—мудр, и стоит ли спорить о том, что он такое? Пусть для одних он такая же реальная личность, как сам Питер, пусть для других он еще более абстрактная идея, чем  $V-1$ . Важно одно, что во всех религиях одна и та же великая мысль: научить людей всеобщему братству. Не смешно ли биться на смерть из-за вопроса о том, как именно произносить слово «братство»?

Если прочитать еще и последний, предлагаемый читателю в настоящей книге, роман «Неугасимый огонь», — будет совершенно достаточное число слагаемых, чтобы получить полную формулу того, что Уэллс называет Богом. Станет ясно: конечно же, его Бог—это лондонский Бог, и конечно, лучшие фимиамы для его Бога—это запах химических реакций и бензина из аэропланного мотора. Потому что всемогущество этого Бога—во всемогуществе человека, человеческого разума, человеческой науки. Потому что это не восточный Бог, в руках которого человек—только послушное орудие: это Бог западный, требующий от человека,



режде всего, активности, работы. Этот Бог знаком с английской конституцией: он не управляет а, только царствует. И хоругви этого современного Бога, конечно, не золотые и не серебряные, а красные: это Бог—социалист.

Любопытно отметить, что композиция «Неугасимого огня» чрезвычайно близка к диалогу «Иов сын Иова», напечатанному лет 10 назад иезуитом Этьеном Жиран в одном итальянском католическом журнале. Так же, как и у Уэллса—у Этьена Жирана показан некий современный Иов (у Жирана он живет «в одном из самых цветущих промышленных городов Голландии»). Так же, как у Уэллса, у Этьена Жирана—к новому Иову, раздавленному несчастьями, являются его друзья—и заходит спор о Боге. Так же, как и у Уэллса, у Этьена Жирана обвинителем Бога является этот новый Иов. Ту же самую, что и у Уэллса, веру в божественное, безграничное могущество единого, коллективного человека—мы находим и у Этьена Жирана, но только здесь она горит не в новом Иове, как у Уэллса, а в другом действующем лице—Тзофаре, одном из собеседников Иова.

«Не Богу надлежит победить зло и водворить справедливость, но людям. Не Бог устанавливает человеческие отношения, не он председательствует в человеческих судах и управляет государствами, но люди. Не Бог создал разделение на социальные классы, не он наделил благоденствием домашние очаги одних и нищетою других, не человеческий эгоизм. Не Богу надлежит осушить источники страдания, но нам.

...И такое время придет. Человечество сумеет уничтожить горе и физические страдания. Оно извлечет из недр плодородной почвы «реки из молока и меда», о которых в своих благочестивых мечтах говорили пророки,—реки, от которых утолят жажду и будут питаться будущие поколения.

И это не мечта: это завтра будет действительно, если только люди сумеют этого пожелать. И пусть они готовятся в битву,



смело готовятся в бой с враждебными силами, без страха, храбро и могущественно. Редуты берутся приступом. Бог поддерживает всех мужественных и хочет, чтобы мы победили по своей воле».....

Эти идеи Тзофара у Э. Жирана очень близки к тем, которые Уэллс в «Неугасимом огне» проповедует голосом м-ра Хасса. Бог Тзофара, и Бог м-ра Хасса, и Бог Питера из романа «Джоана и Питер»—это один и тот же Бог: он «царствует, но не управляет» миром, он не работает за людей, но толкает их на неустанную работу и борьбу, он «поддерживает всех мужественных».

Евг. Замятин

---

## ГЛАВА ПЕРВАЯ ПРОЛОГ НА НЕБЕ

### § 1

Два вечных существа, в великолепных ореолах, одно в ослепительном блеске белого света, другое в сумасшедшей пестроте красок, ведут беседу; обстановка—невообразимые громады. Согласно традиции—громады эти похожи на дворец, но они приобрели теперь определенный отпечаток космичности. Они не расположены в каком-нибудь определенном месте, они—над материальной вселенной и вместе с тем вмещают ее в себе.

Место действия производит такое впечатление, как будто футурист, хорошо знакомый с современными химическими и физическими теориями и вдохновляемый неким смутным религиозным настроением, перерисовал заново прежние прерафаелитские декорации. Могучие колонны уходят в неизмеримую тьму; сложные изгибы и завитки орнаментов точно начертаны лётom частиц стихийного вещества. Солнца и планеты мчатся и сверкают сквозь опаловые глубины пола из хрустального эфира. Служат огромные крылатые фигуры, выкованные из радуг, шаров, звезд, свитков закона, пламенных мечей и тому подобных эмблем. Голоса херувимов и серафимов все время восклицают: «Свят, свят, свят!»

Происходит, как и в древнем предании, прием сынов Божиих. О хозяине—не без основания можно предполо-



жить, что он величественно скучает: все, что только может произойти, ему неизбежно известно заранее. Несмотря на это, он, неизменно, проявляет живейший интерес к своему собеседнику. Собеседник этот, конечно, Сатана, Неожиданное.

Контраст между этими двумя вечными существами очень резкий. У Божества, окутанного и почти сокрытого светом, волосы точно руно, глаза подобны синеве беспредельных пространств; оно производит впечатление устойчивого далекого горного величия; у Сатаны—компактность и подвижность, свойственные привычным путешественникам. Он—нечто такое же осязательное и законченное, как саквояж, и он вносит веяние предприимчивости и даже суетливости в обстановку, которая, не будь тут его, была бы преисполнена безмятежным совершенством. Даже сияние вокруг его головы как будто слегка пострадало от странствований. Он много раз бродил по земле, исходил ее вдоль и поперек; еще целы на нем дорожные ярлыки. Его положение на небе такое же неопределенное, как во времена Иова; до сих пор не установлено, следует ли его считать одним из сынов Божиих, или же он только каким-то непонятным образом затесался в их среду. (Но об этом вопросе можно прочесть подробно в Библейской Энциклопедии под словом «Сатана»). Каково бы, однако, ни было его происхождение, несомненно только, что в нем очень выросло сознание своей независимости и важности перед лицом Божества. Врожденная ли это у него свобода, или она признана за ним впоследствии, но, во всяком случае, у него самого нет сомнений относительно непоколебимости его личной автономии. Он уверен, что составляет необходимое дополнение Бога и что его непокорность нужна, как противовес повиновению архангелов. Он никогда не пропускает этих собраний. Если Бог вездесущ в силу статической необходимости, то Сатана обретается всюду в силу



своей беспредельной подвижности. Между ними—бесконечные метафизические споры, в которые Сатана вносит тон дружеской шутиливости. Они играют в шахматы.

Но это не та маленькая остроумная игра в шахматы, которую вывезли некогда из Индии. Повелитель мира создает доску, фигуры и правила игры. Он делает все ходы и может делать сколько ему угодно ходов и когда угодно; его противнику позволяется только вводить легкую неизяснимую неточность в каждый ход, что вызывает необходимость дальнейших ходов для того, чтобы поправить неточность. Создатель определяет и утаивает цель игры, и нельзя знать, заключается ли назначение противника в том, чтобы разбить его непроницаемый план, или способствовать осуществлению этого плана. Повидимому, противник не может выиграть, но он и не проигрывает, пока ему удастся длить игру. Он, однако, повидимому, заинтересован в том, чтобы не дать развиваться никакому обдуманному плану в игре.

## § 2

Небесные шутки слишком возвышенны и в то же время слишком смелы, чтобы их можно было без труда ввести в границы земной печати и земного понимания. Сатанинская стихия неожиданности наполняет иногда смехом всю сферу бытия; дрожь, порождаемая раскатами этого смеха, потрясает наш бедный мозг в самые страшные минуты. Сатана тешится тем, что бросает в лицо Властителю его же собственное название Единого и оспаривает у него авторство жизни. (Но такого рода шутки приводят в отчаяние ангелов.)

- Я один создаю.
- Но я—я бродильный фермент.
- Я создал материю и все сущее.



— Недвижную материю, да; и она спала бы мертвым сном, если бы я не раскачивал ее.

— Ты—лишь то маленькое различие, которое выделяет индивидуальность. Ты—маленькое свое, единственное, что есть в каждом и во всем в мире; ты—отдельность, нарушающая закон, идиосинкразия—нотабенэ на полях.

— Это ты, Господь, Единственный, ты Единственность целого.

Небо улыбнулось, и на планетах было несколько радостных дней.

— В конце я выкину тебя вон из счета, и ты исчезнешь.

— И тогда все кончится.

— Все будет завершенным.

— Без меня!

— Ты нарушаешь симметрию моей вселенной.

— Я вношу в нее жизнь.

— Нет. Жизнь исходит от меня.

Одна фигура из числа прислужников Божиих выделилась, обнаруживая облик Михаила с мечом в руках.

— Он богохульствует, Господи. Прикажешь выгнать его отсюда?

— Ты ведь это уже проделал когда-то,—возразил Сатана, говоря пренебрежительно через плечо и даже не глядя на Михаила.—Ты не переставая гонишь меня. А я—все еще здесь.

— Он каждый раз возвращается,—сказал Господь умиротворяющим тоном.—Быть может, такова моя воля. Как бы мы обходились без него?

— Не будь меня, время и пространство превратились бы в замерзшее прозрачное совершенство,—сказал Сатана и улыбнулся; от его улыбки на мириадах планет статистика обнаружила возрастающее число преступлений.—Это я вздымаю воды. Я нарушаю покой всего на свете. Я—дух жизни.



— Я—душа,—сказал Бог.

Сатана, закинув одну руку за спину своего трона, по направлению к Михаилу, поднял брови в ответ. Разговоры о душе он считал слабостью со стороны Бога. Ему самому ничего не ведомо было о душе.

— Я сотворил человека по образу и подобию своему,—сказал Бог.

— А я сделал его человеком мира. Не будь меня, он все еще был бы попрежнему тем же самым никчемным садовником и все еще тщился бы возделывать сад, где все равно не было сорной травы и где все произрастало, потому что не могло не произрастать «среди вечного лета в селениях блаженных». Вы только подумайте, Силы Небесные! Совершенные цветы! Совершенные плоды! Ни одного желтого листа! Ни одного дня осенней стужи! Золотистые леопарды, благородные львы, дикие животные, не исполняющие своего назначения, мурлычат и ласкаются к человеку среди бесцельной резвости ягнят, которым никогда не вырасти большим. Боже милостивый, до чего бы все это надоело человеку! До чего надоело бы! А я, вместо того, толкнул его на пусть изумительнейших приключений. Только благодаря мне, у человека есть история, и он проявляет себя в ней до крайних пределов своих способностей. До самых крайних пределов... Да ведь и ты сам, Господи, повидимому, одобрил тогда мой поступок, так как послал ангелов с пламенными мечами.

Бог ничего не ответил.

— Ах да, кстати: это напоминает мне...—сказал, не смущаясь, Сатана.

### § 3

Огромные крылатые фигуры подплыли ближе. Сатана слышит на небе хорошим рассказчиком; он один только сочиняет сказки.



— Был человек в земле Уц; имя его было Иов.

— Мы его помним.

— У нас было что-то вроде пари относительно него,— сказал Сатана.— Это происходило довольно давно.

— Пари было не совсем ясное, и я вспоминаю теперь, что ты не уплатил свой проигрыш.

— Я не знаю, проиграл ли я или выиграл. Вопрос этот был затуманен спорами. Как нескончаемо долго они говорили,—эти люди! Потом ты сам вмешался... Так вопрос и остался нерешенным.

— Ты проиграл, Сатана,—сказало огромное Лучезарное Существо, выступая с книгой в руках.— Пари было вот какое: утратит ли Иов веру в Бога и проклянет ли он Его,—или нет. Иов претерпел много страданий, и наибольшим страданием были для него разговоры друзей. Но в человеке остается неугасимый огонь.

Сатана подпер рукой темное лицо и, опустив глаза, смотрел между колен через прозрачный пол на этот маленький вихрь в эфире, что образует наш мир.—Иов,—сказал он,—жив и поныне.

После некоторого молчания он прибавил:—Вся земля теперь—Иов.

Сатана любит статистику и любит также тексты из Писания. Он откинулся на кресло с выражением спокойного удовлетворения.—Иов,—начал он в легком повествовательном тоне,—дожил до глубокой старости. После происшедшей с ним неприятности он жил еще сто сорок лет. У него снова было семь сыновей и три дочери, и он видел сынов своих и сыновей своих сынов до четвертого колена. Это все известно, общеизвестно. От десяти детей у Иова родилось семьдесят внуков, которые в общем благоденствовали и имели большие семьи—они были плодотворны. И если считать три поколения на столетие, а в действительности, пожалуй, даже и больше,—если считать,



что в общем выживают по три человека на семью, и если согласиться с твоим почтенным епископом Эшером, что Иов жил около тридцати пяти столетий тому назад, то это составляет—сколько? Три в сто пятой степени... Во всяком случае, получается цифра, значительно превосходящая теперешнее население земли... У вас тут есть шары и свитки, мечи и звезды; не найдется ли у кого-нибудь счетной линейки?

Но подсчет его оказался ненужным.

— Тысяча лет перед лицом моим лишь вчерашний день, когда он миновал. Я принимаю и так то, что ты хочешь доказать: что Иов—это теперь все человечество.

#### § 4

Темный взгляд Сатаны низринулся сквозь трепетную вселенную, опередив медленно плывущие волны света.

— Посмотри,—сказал он, указывая вниз.—Вот он, мой старый друг на своей маленькой планете: Адам—Иов—человек, точно жаркое на веретеле. Пора бы нам снова устроить пари.

Бог милостиво согласился поглядеть вместе с Сатаной, как человечество кружится между днем и ночью.

— Пари о том, будет ли он благословлять или проклинать?

— Нет. О том, помнит ли он даже о Боге.

— Я дал обещание восставить Адама в конце веков. Опущенное лицо слегка улыбнулось.

— Эти вопросы меняются из века в век,—сказал Сатана.

— Целое остается неизменным.

— История удлиняется в обе стороны,—сказал Сатана, таким тоном, точно думал вслух.—Прошлые и будущие разворачиваются вместе... Когда столкнулись первые атомы,



я уже существовал, и, значит, была борьба—был прогресс. То, что было в древнем предании днями—развернулось теперь на сотни миллионов лет, а я в них попрежнему. Акулы и пресмыкающиеся чудища первозданных вод, первые существа, которые выползли из воды в дебри листвы и стволов, первобытные гады, прыгающие и летающие драконы героического века, мощные звери с копытами и рогами—все они страдали и жили в страхе и тревоге. Наконец, явился этот твой Человек; он пришел из леса, волосатый, хмурый и запятнанный кровью, разыскивая, без больших надежд на успех, знаменитый Эдем старинного предания. Его не оказалось. Не было никогда райского сада. Человек нал, прежде чем явился на свет; шипы и плевелы возникли вместе с цветами. Падение произошло задолго до человека, до мира; оно относится к неким временам, уходящим за пределы воображения. Самые звезды родились во грехе...

— Если это можно назвать грехом, — размышлял Сатана.

— На маленькой планете рождается Существо—этот комочек красной глины, этот Адам, этот житель рая, этот Иов. Он строит города, возделывает землю, ловит молнию и порабощает ее, растит новые породы животных и хлебов. Все это очень умно, и все же все это—пустяки. Ты говоришь, что каким-то образом он, в конце концов, явится сюда... Он для этого слишком глуп и слишком слаб. Его достижения ясно показывают, до чего он ограничен. Посмотри на его маленький мозг, запертый в костяной череп: ему там нет места расти. Взгляни на его тело; это—какой-то мешок, набитый лохмотьями и рудиментарными органами, колбаса, начиненная болезнями. Его жизнь—Разложение... И он совершенствуется? Я этого не замечаю. Сделал ли он качественно хоть какой-нибудь заметный шаг вперед за последние десять тысяч



лет? Он бесконечно и бесцельно ссорится сам с собой... В скором времени его планета охладает и замерзнет.

— В конце времен он будет властвовать над звездами,—сказал голос, прозвучавший в высоте над Сатаной.—Мой дух пребывает в нем.

Сатана прикрыл лицо рукой, защищаясь от блеска, разлитого вокруг него. Он несколько времени ничего не говорил и сидел, созерцая человечество, подобно мальчику, который, сидя на берегу реки, глядит, как резвятся пискарки в прозрачной воде.

— Нет,—сказал он наконец,—это невероятно. Это невозможно. Я достаточно долго тревожил и мучил его. Теперь во мне зашевелилась жалость. Давай положим конец нашему спору. Это было занятно, но теперь—не пора ли перестать? Игра становится жестокой. Он дошел до предела. Дадим ему немного передохнуть, Господь, дадим ему немного пожить в солнечном свете и в полном избытке, а потом найдем на него какой-нибудь повсеместный безболезненный мор—и пусть он умрет.

— Он бессмертен, и теперь только самое начало его бытия.

— Он смертен и близится к своему концу. Временами он, действительно, имел многообещающий вид, и тогда казалось, что он поймет, что он станет господином в своем мире. Но это только так кажется. Дай мне хоть немного помучить его страданиями, и после нескольких вспышек веры и надежды он начнет выть и ослабнет, как и всякий другой зверь. Он будет вести себя совершенно так же, как другие родственные ему животные, с меньшим мозгом и более развитыми челюстями. Как и они, он тоже обречен бесцельно страдать, бороться только в силу жизненного инстинкта, прожить несколько времени и умереть... Дай мне только волю, и ты увидишь, что терпение его порвется, как гнилая веревка.



— Делай с ним, что хочешь, только не убивай его, ибо дух мой пребывает в нем.

— Дух твой он извергнет по собственному почину, когда я разобью его надежды, надсмеюсь над его жертвами, омрачу его небо и наполню муками его жилы... Но все это слишком легко. Дай мне лучше убить его теперь и положить конец истории человека. А потом создадим другую историю, более забавную. Давай, например, вложим мозг и эту твою хваленую душу—в муравьев, или пчел, или бобров. А то еще недурно заняться осминогом; он в настоящем своем виде очень смышленное и сообразительное создание.

— Нет. Но выполни то, что ты говоришь, Сатана. И ты—орудие моей воли. Доведи человека до пределов страданий. Посмотри, действительно ли он не более, чем легкое колебание среди ила, пузырь в болоте, и ровно ничего не значит.

## § 5

Лицо Сатаны было скрыто в тени; он точно не слышал сказанного ему и продолжал сидеть молча, внимательно глядя на мир людей.

В то время, как темная фигура Сатаны задумчиво сидела высоко над пространствами бытия, и широкое сияние над его головой было похоже на поблекший распущенный хвост павлина, нижеследующее произошло с неким человеком на земле.

---

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### ВИЛЛА „МОРСКАЯ ПАНОРАМА“ В САНДЕРИНГЕ-НА-МОРЕ

#### § 1

В неудобном кресле с сиденьем из скользкого конского волоса, в убого обставленной меблированной квартире в Сандеринге сидел больной человек и хмуро глядел в окно. Был удушливо-жаркий день с свинцовым небом. В воздухе не было ни малейшего движения, и только временами раздавались глухие раскаты учебной стрельбы в Шоргемстоу. Рои мух ползали и беспокойно жужжали в комнате, и где-то по близости цепная собака время от времени выражала громким лаем свое недовольство. Окно выходило на пустырь с начатой постройкой, заросшей обожженной травой и заваленной ржавым хламом; пустырь был огорожен забором из досок от каких-то бочек и колючей проволокой. Между обвалившейся доской с объявлением о каком-то строительном предприятии довоенного времени и тощей верандой санатории, где сидели на складных креслах две унылые фигуры раненых солдат в синих куртках,—была щель, и сквозь нее открывался вид на море, оправдывавший название виллы.

Человек в кресле замахал рукой.

— Проклятые создания,—сказал он.—Зачем Бог создал мух?

После долгого молчания он глубоко вздохнул и повторил: «Зачем?»



Он беспокойно заворочался, пытаясь принять более удобное положение, но потом снова впал в глубокое уныние.

Когда вскоре после того хозяйка вошла, чтобы накрыть стол к завтраку, лишь едва заметное движение бровей обнаружило, что больной сознает угрожающую стремительность и нарочитость ее движений. Она была видимо разгорячена стряпней, и вместе с ее появлением в комнату проник запах подгоревшего картофеля. Она была худощавая, маленькая женщина с обиженным видом; острый красный нос ее был защемлен очками, и, расстилая серую клетчатую скатерть, шумно раскладывая по местам ножи и вилки, она сумрачно взглянула на больного, точно огорченная его невниманием. Она дважды хотела заговорить, но каждый раз останавливалась. Наконец, она не вытерпела.

— Вам, я вижу, все плохо, м-р'Асс?—спросила она таким тоном, точно отлично знала, какой на это последует ответ.

Он вздрогнул при звуке ее голоса и должен был сделать усилие, чтобы вслушаться в ее слова.

— Что вы сказали, м-сс Крум?

Хозяйка ответила довольно резко:

— Я спрашиваю, все ли вам еще плохо, м-р'Асс.

Он не поднял на нее глаз, а только поглядел исподлобья в ее сторону...

— Да,—ответил он.—Мне плохо. Боюсь, я болен.

Она издала какой-то звук, означавший «да», и это заставило его повернуться и посмотреть ей в лицо.

— Только, пожалуйста, не говорите об этом м-сс Хасс. У нее и так теперь много горя, слишком даже много.

— Несчастья никогда не приходят в одиночку,—заявила м-сс Крум спокойно-самодовольным тоном, наклонясь над столом, чтобы смести со скатерти просыпан-

ную соль. Она не собиралась брать на себя никаких обязательств относительно м-сс Хасс.—Нужно смиряться перед испытаниями, ниспосланными на нас,—сказала м-сс Крум.—Нужно искать опору там, где ее можно найти.

Она выпрямилась и поглядела на него задумчиво-недоброжелательным взглядом.

— А пожалуй, вам просто следует принимать какое-нибудь укрепляющее средство. Может быть, вы только недостаточно берегли свои силы.

Больной ничего не ответил на такое предположение.

— Почему бы вам не сходить к врачу, который живет тут за углом? Его фамилия Баррак; он наверно вас вылечит. Его все очень хвалят. Мы с Крумом, правда, не ходим по докторам, нам нет надобности. Но вы—другое дело.

Человек в кресле был уже дважды у молодого врача за углом, но ему не хотелось обсуждать с м-сс Крум результаты этих визитов.

— Я подумаю,—уклончиво ответил он.

— В конце концов, это нехорошо, и для вас самих и для других тоже—вот так болеть, да и мало ли что это может быть за болезнь? Сидеть тут и ничего не делать... Особенно, если живете в меблированной квартире, да еще в летний сезон. Это, знаете, скажу я, даже не-деликатно.

— Совершенно верно,—беспомощно согласился м-р Хасс.

— На то есть санатории и госпитали, где все приспособлено для больных.

Больной кивнул головой в знак согласия с ее словами.

— Если захватить в самом начале, то оно и будет захвачено во-время, а иначе, потом, не оберешься хлопот.

Собеседник ее был именно такого же мнения.

М-сс Крум нагнулась к дверцам узкого буфета и шумно выставила оттуда на стол бутылку виски, бутылку



лимонного сока и сифон содовой воды. Затем она осмотрела сделанную работу критическим взором. «Судок!»—шепнула она и исчезла из комнаты. Предоставленная самой себе дверь мучительно проскрипела несколько мгновений и захлопнулась силой собственной тяжести.

Больной поднес руку ко лбу. Лоб был влажный от пота. Рука больного сильно дрожала. «Боже!»—прошептал он.

## § 2

Человека этого звали Иовом Хасс, как его отца, и все старшие сыновья в их роде, насколько об этом сохранилась память в семейных преданиях, носили всегда это имя. С месяц тому назад он казался всем, кто его знал, несомненно счастливым человеком, которому можно было только позавидовать. А потом вдруг на него обрушились несчастья.

Он стоял во главе прославленной большой школы в Уолдингстантоне в Норфолке—школы современных знаний, преобразованной из старинной школы прежнего типа и принадлежавшей гильдии лондонских фабрикантов бумаги. Он отдал все свои силы устройству школы и создал большую известность и своему заведению, и себе. Он первым из английских учителей освободил преподавание современных наук от мешающих ему низших классов, с обязательным в них обучением классическим языкам. Его школа была единственной в Англии, где настоящим образом преподавали испанский и русский языки. Его естественно-научные лаборатории были лучшими школьными лабораториями в Великобритании и, быть может, во всем мире, а его новые методы преподавания истории и политики привлекали в Уолдингстантон непрерывный поток иностранных посетителей. Рука врага рода человеческого простерлась на него впервые в самом конце



летнего семестра. В школе была эпидемия кори, и, по необъяснимому недосмотру испытанной сиделки, двое детей умерли. В самый день смерти второго мальчика один из лаборантов погиб от взрыва в лаборатории. Затем накануне роспуска учеников на каникулы, произошел пожар в школьном здании, и два мальчика младшего отделения погибли в огне.

Против каждого из этих несчастий в отдельности м-р Хасс и его школа, быть может, и устояли бы, не дрогнув, но быстрое чередование катастроф произвело потрясающее впечатление. Обстоятельства к тому же складывались будто нарочно так, что м-р Хасс особенно живо ощущал каждый раз ужас происходивших событий. Он первый прибежал на помощь к лаборанту, когда тот упал, и на него опрокинулись несколько бутылей с кислотами, и он, еще живой, барахтался, ослепший, почти без лица, безнадежно изуродованный. Бедняга умер, прежде чем его успели вытащить из груды осколков. М-р Хасс получил при этом внутренние повреждения и очень больно ушиб ногу. А во время пожара он сам разыскал и вытащил на воздух обуглившийся труп одной из двух маленьких жертв,—вытащил из комнаты, где мальчики очутились в ловушке: дверь осталась запертой после какой-то игры накануне раз'езда на вакации. В довершение этих тяжких потрясений м-р Хасс испытывал еще величайшие неудобства в связи с тем, что во время пожара сгорели все его бумаги и почти все его личное имущество.

На следующий день после пожара лишил себя жизни адвокат, который вел дела м-ра Хасса. Адвокат был старый друг м-ра Хасса, и м-р Хасс доверял ему все сбережения, которыми надеялся обеспечить спокойную старость себе и своей жене. Адвокат был человек либеральных взглядов и стойких политических убеждений. Он



стал скупать рубли для м-ра Хасса,—как, впрочем, и для себя—чтобы демонстративно проявить свою веру в русскую революцию.

Все эти обстоятельства в достаточной мере расстроили самого м-ра Хасса, но на супругу его они подействовали прямо катастрофически. М-сс Хасс была почтенная, но крайне чувствительная дама и отличалась скорее экспансивностью, нежели твердостью духа. Как жены большинства учителей, она в течение уже многих лет была поглощена, главным образом, хозяйственными заботами, и в результате всех несчастий ее помыслы направились прежде всего в сторону жестокой экономии; кроме того, она стала обнаруживать никогда до того не проявлявшееся презрение к практическим способностям мужа. Для м-ра Хасса было бы многим лучше, если бы горе окончательно сломило его жену; теперь она упрямо хотела заправлять всем, и делала это с особой резкостью, которая не терпела никаких возражений. Оставаться в Уолдингстантоне на время каникул было невыносимо: слишком мучительно было бы постоянно иметь перед глазами страшные обгорелые развалины школьного здания. М-сс Хасс решила поэтому, что они поедут на лето в Сандеринг на море. Это было близко, и до войны Сандеринг славился своей дешевизной. Там, заявила м-сс Хасс своему мужу, он должен взять себя в руки и собраться с духом, чтобы затем вернуться отстраивать школу и воссоздать ее прежнее положение. Прежде чем приступить к постройке, нужно было проделать еще ряд формальностей. Англия дошла в то время до предела напряжения своих сил в войне. Рабочие руки и строительный материал нельзя было получить без особых разрешений и больших хлопот. Из Сандеринга, как вообще отовсюду, вполне удобно было вести необходимую деловую переписку. Первоначальный план м-ра Хасса съездить в Лондон, чтобы повидаться с влиятельными



лицами, м-сс Хасс отвергла в виду расходов, связанных с такой поездкой; когда м-р Хасс стал настаивать, он был окончательно побежден потоком слез.

По приезде в Сандеринг м-сс Хасс остановилась с мужем в железнодорожном отеле и провела следующее утро в энергичных поисках подходящих комнат. Что-то привлекло ее в неказистом виде «Морской Панорамы», и после долгих переговоров ей удалось сбить цену, назначенную м-се Крум, с пяти до четырех с половиной гиней в неделю. В тот же день кто-то, отчаявшись найти пристанище—в Сандеринг внезапно нахлынула толпа приезжих—предложил шесть гиней в неделю. М-сс Крум попыталась было вернуться к первоначально назначенной цене, но м-сс Хасс была непоколебима, и после того все сношения хозяйки с жильцами происходили под затаенный припев: «Вы мне платите четыре с половиной гиней, а мне предлагали шесть». Чтобы возместить убытки, м-сс Крум ставила в счет всякие надбавки за пользование ванной, за стряпню в кухне после пяти часов, за чистку коричневых сапог м-ра Хасса специально купленным для него коричневым кремом, вместо обыкновенной ваксы, и за чернила, которые м-р Хасс изводил на свою обширную переписку. Каждая такая надбавка вызывала много споров и ожесточения.

Но вскоре на м-ра и м-сс Хасс обрушился новый удар—более тяжелый, чем все испытанные до того. У библейского Иова было семь сыновей и три дочери, и всех их не стало. На долю Иова наших дней выпало более тяжкое испытание. У него был единственный любимый сын, очень многообещающий юноша, и он поступил в Королевский Отряд Летчиков. Пришла весть, что его сбили при полете над германскими позициями.

Вдобавок, к несчастью для м-ра Хасса, у него были большие несогласия с женой из-за сына. Сам он гордился



тем, что юноша избрал такой героический род службы, а м-сс Хасс всеми силами отговаривала его от поступления в отряд летчиков. Теперь злополучная мать сделалась совершенно безжалостной в своем отчаянии. Она называла мужа убийцей своего сына, говорила, что он, конечно, доволен делом своих рук—рад, что имя их сына будет «вместе с другими» красоваться в часовне на почетной доске, в числе доблестно павших в бою. «Ее сын, е е, м а л ь ч и к!» С этими словами, она с громким плачем уходила из комнаты.

М-р Хасс чувствовал себя совершенно уничтоженным. Слова «вместе с другими» ранили его в самое сердце. В школьной часовне, действительно, красовался список павших героев, получивших высшие отличия, крест королевы Виктории и медаль Корпуса Смерти—такого списка, как в Уолдингстантоне, не имело ни одно учебное заведение, и м-р Хасс этим гордился.

В течение нескольких дней душа его точно застыла. Он окончательно пал духом и жил, как во сне. Ему стоило величайших усилий написать самое простое деловое письмо. Жизнь его, полная достоинства, надежд, широкой деятельности, внезапно свелась к уровню этих убогих меблированных комнат и грызни двух неразумных женщин. Дело его жизни потерпело крушение—он изнемог и чувствовал себя не в силах бороться против судьбы. И затем в сознание его мало по малу вкрадывалось смутное ощущение внутренней боли.

Жена его, обезумевшая от горя, ожесточенная, стала ссориться с ним из-за вопроса о трауре. М-р Хасс был всегда против всяких внешних знаков печали и торжественных погребальных обрядов, но м-сс Хасс стояла на своем: пусть он упорствует в своем бессердечии, зато она, по крайней мере, будет ходить в черном. И ему нечего волноваться: она не истратит лишнего—ей нужно только



соблюсти приличие. Она купит самую дешевую черную материю и сама сошьет траур у себя в спальне—лишь бы только ходить потом в черном. Это решение привело сразу к стычке с м-сс Крум; она решительно запротестовала против того, чтобы в лучшей спальне в ее доме валялись по полу обрезки черной материи, и отказалась дать свою швейную машину. Но м-сс Хасс уперлась на том, что изготовит себе траур, хотя бы пришлось шить все руками, сначала и до конца. И несчастная растерявшаяся женщина сама себе причинила еще больше огорчений своей необдуманной бережливостью; она на полвершка—или даже больше, обузила платье против бумажной выкройки. Ковер и покрывало на кровати пришли при этом в такой вид, что м-сс Крум чуть буквально не полезла в драку и всячески пыталась втянуть самого м-ра Хасса в объяснение с ее мужем.

— Крум не вмешивается в мои дела, но таких вещей и он не потерпит, и никто бы не потерпел, м-р 'Асс.

В течение нескольких дней, проведенных на поле битвы ненасытного горя и мелочной жестокости, чувствуя тупую боль, все определеннее проникающую в сознание, м-р Хасс все же заставлял себя вести кое-как всю сложность дел, вызванных школьной катастрофой. Затем у него был сон, который, как это иногда бывает, открыл ему глаза относительно состояния его здоровья. Ему представилось что-то твердое и белое—оно выступало у него из бока и выпускало червеобразные щупальцы, которые проникали во все уголки его существа. Несколько докторов старались оторвать этот нарост от его тела, и при каждом их усилии ему становилось больнее.

Он проснулся, но боль продолжалась.

Он лежал, не двигаясь. Среди тяжелого мрака он увидел перед собою слово «рак», ярко-красное и жгучее, как боль.



Он стал размышлять, непоколебимо убежденный, что не ошибся в своем предположении. Но все же он рассуждал условно.—«Если дело обстоит так»,—рассуждал он, хотя знал, что именно так оно и обстоит,—«то что же ему делать? Нужны будут операции, это потребует больших расходов, он очень ослабеет... К кому обратиться за советом? Кто ему поможет?

Что, если взять утром купальный билет, точно он собирается купаться в море, и выбраться за полосу берегового ила. А потом пусть подумают, что у него сделалась вдруг судорога. Он будет задыхаться минут пять, но затем наступит покой, бесконечный покой».

— Нет,—сказал он с внезапным порывом мужества.— Я буду бороться до конца.

Но голова у него слишком ослабела, чтобы создавать какие-нибудь планы, а физически ему сделалось страшно. Придется так или иначе обратиться к какому-нибудь доктору, и даже эта маленькая задача приводила его в ужас.

А затем придется сказать м-сс Хасс...

Он лежал несколько минут не двигаясь, точно прислушивался, как попеременно нарастала и стихала его боль.

— О, если бы у меня был кто-нибудь, кто помог бы мне!—шептал он, и его охватила жалость к самому себе и своему одиночеству.—Если бы у меня был кто-нибудь!

Он уже много лет никогда не плакал, но теперь его осилили слезы. Он перевернулся лицом вниз, зарыл лицо в подушку и пытался оттащить свое тело от чего-то, что не переставало грызть его. Он тревожно метался, как ребенок.

А ночь вокруг него была точно кто-то большой, кто следил за ним, но не откликался и не приходил ему на помощь.



### § 3

В доме за углом, где на медной дощечке значилось «Д-р Элайю Баррак», м-р Хасс попал к строгому, знающему молодому врачу, который лишился ноги на войне и вернулся практиковать в Сандеринге. Искусственная нога, повидимому, не очень ему мешала. Он держался скромно, но, как будто, от него можно было ждать помощи. Его неблагоприятный диагноз был тем более убедителен, что он ставил его предположительно и условно. Он сразу указал на специалиста, к которому нужно обратиться. Оказалось, что в Сандеринг очень часто приезжал играть в гольф такая знаменитость, как сэр Алфей Менго. Легко будет условиться, чтобы он осмотрел м-ра Хасса в кабинете д-ра Баррака, и если окажется, что нужна операция, то ее можно будет сделать самым экономным образом на дому у м-ра Хасса, без приплат за проезды врачей и т. д.

— Отлично, отлично,—соглашался м-р Хасс, ясно представляя себе в то же время лицо м-сс Крум, когда ей это будет сообщено.

Сэр Альфей Менго приехал в ближайшую же субботу. Он осмотрел м-ра Хасса—втайне от его жены—и решил сделать операцию через неделю. М-ру Хассу предоставлено было, по его же просьбе, самому сообщить об этом жене и сделать необходимые приготовления к операции в квартире м-сс Крум. Но прошло уже два дня, а он все еще не решался открыть истинное положение дел.

Он сидел теперь, прислушиваясь к шагам жены наверху в спальне и к глухим стукам на кухне, означавшим, что приготовление обеда близится к концу. М-сс Крум крикнула наверх, что обед готов. М-ра Хасс охватил панический страх, как школьника, не успевшего приготовить урок. Он стал быстро составлять несколько вступительных фраз, но ему ничего не приходило в голову, кроме жалоб



и протестов. Духота жаркого дня смешивалась в одно с ощущением боли. Запах еды вызывал в нем тошноту. Он чувствовал, что ни за что не сможет сесть за стол и есть, хотя бы только для видимости, подгоревшую жареную ветчину с картофелем: именно это блюдо появится на столе,—в этом он не сомневался.

Оно и действительно появилось. Приближение его по коридору возвещено было звоном посуды. Дверь открылась от сильного толчка, и м-сс Крум поставила это великолепное блюдо на стол; вид ее при этом был не то извиняющийся, не то вызывающий.

— А вы думали, говорила она,—я вам что-нибудь другое дам—за ваши четыре с половиной гиней, это в разгар-то сезона! Да еще когда другие мне предлагали шесть!

— Обед подан,—крикнула м-сс Крум вверх по адресу м-сс Хасс, намеренно пренебрежительным тоном, и пошла к себе в кухню, хлопнув дверью.

В комнате снова водворилась тишина, и тогда м-р Хасс услышал шаги своей жены. Она перешла через всю спальню к двери и стала спускаться вниз по лестнице.

М-сс Хасс была смуглая, довольно грациозная, но несколько небрежно одетая дама сорока семи лет, с заносчивым видом человека, привыкшего постоянно обороняться от всяких нападений. Она подняла крышку блюда с овощами.

— Я уже знала по запаху, что картофель подгорел,—сказала она.—Эта женщина невозможна!

Она остановилась у своего стула и поглядела на мужа.

М-р Хасс нехотя поднялся и проталился к стулу у обеденного стола.

М-сс Хасс всегда сама разрезала жаркое за столом и на этот раз тоже приготовилась положить мужу ветчины на тарелку.

— Нет,—сказал он с отвращением.—Я не стану есть. Не могу.

Она отложила ложку и вилку и посмотрела на мужа с мрачным недовольством.

— Ничего другого нет,—сказала она.

Он покачал головой.

— Да не в этом дело.

— Не знаю, что я должна, по твоему, готовить тебе,—стала жаловаться м-сс Хасс.—Здесьние лавочники нас не знают и совершенно не стараются угодить нам.

— Да я совсем не о том. Я болен.

— Это от жары. Мы все больны, все до одного. Нельзя же из-за этого распускать себя! В таких обстоятельствах, как наши, нужно взять себя в руки.

— Я хочу сказать, что я действительно болен. Я очень страдаю.

Она взглянула на него, как смотрят на капризного ребенка. Ему пришлось говорить более определенно.

— Все равно придется сказать тебе рано или поздно. Я вынужден был обратиться к врачу.

— Не спросив меня?

— Я думал, что, может быть, это одно воображение и не хотел тебя тревожить.

— Где ты нашел врача?

— Тут рядом живет очень хороший доктор. Да что толку долго рассказывать! У меня рак. И нет никакого другого средства, кроме операции.—М-ра Хасса охватило острое чувство жалости к себе. Он едва удержался от того, чтобы не заплакать.—Мне плохо. Я не могу есть. Мне нужно лежать.

М-сс Хасс порывисто откинулась на спинку стула и уставилась на него глазами, точно перед нею очутилось какое-то отвратительное чудовище.



— О!—крикнула она.—Заболеть раком теперь! Здесь, в этих комнатах.

— Чем же я виноват?—возразил м-р Хасс.—Не от меня зависело—выбирать время.

— Рак! — возмущенно воскликнула она. — Какой ужас!

Один момент он смотрел на нее с чувством ненависти в сердце. М-р Хасс увидел под сдвинутыми бровями темные, враждебно глядевшие на него глаза—а когда-то они сияли любовью,—увидел поблекший рот с опущенными углами—такой гордый и красивый в прежнее время. Эта маска неприязни была посажена на шее, которую он называл в прежнее время «стеблем ее головы», так она напоминала стебель прекрасного цветка. У нее были прежде красивые плечи и задорный нрав. Теперь кожа на шее и плечах слегка сморщилась, а характер сделался сварливым. Лоб ее был потный от жары, а волосы растрепались более обыкновенного. Но все это не усиливало, а скорее смягчало в нем недружелюбное чувство, не отталкивало его, как недостатки, но причиняло боль, как раны, нанесенные общим несчастьем. Он всегда нянчился с ее тщеславием и слабостью, берег их, забавлялся ими, а теперь он вдруг почувствовал всю глубину ее эгоизма. В сердце его поднялась жалость, желание защитить ее от нее самой, и это чувство пересилило в нем физическую боль. Страшно было видеть, до чего в ней не осталось и следа прежней чуткости и нежности. Она не в состоянии была хоть на минуту забыть о себе и подумать о другом. И он был бессилен изменить это: все его прежнее влияние давно исчезло. Он утратил всякое обаяние для нее.

В последнее время он много думал о том, что станет с его женой, если он умрет. Отчасти его смерть, быть может, улучшит ее положение. Он застраховал свою



жизнь, и, в случае его смерти, вдове его немедленно выдадут около семи тысяч фунтов; если же он выживет теперь, то придется еще в течение нескольких лет выплачивать ежегодно суммы, весьма обременительные для их новых обстоятельств. В этом отношении смерть его будет для нее прямым выигрышем. Но кто займется этими деньгами и будет блюсти ее интересы? Он знал, что она крайне безрассудна в денежных вопросах, что она недоверчива к людям, которых близко знает, и, с другой стороны, жадно бросается навстречу всякому чужому человеку. Он сам же виновен в том, что она так беспомощна, и его долг—жить и по прежнему защищать ее. Помимо этого непосредственного личного основания не желать смерти, он столь же определенно чувствовал, что должен еще многое сделать в жизни, и что взятые им на себя задачи в деле воспитания еще далеко не выполнены.

Он говорил, опираясь подбородком на руку, и глядел недвижно на темнеющее вдаль море.

— Меня может вылечить операция,—сказал он.

Ее мысли, повидимому, блуждали, почти параллельно с ходом его размышлений, в какой-то унылой непривлекательной стране.

— Стоит ли предпринимать операцию?—стала она думать вслух.—Ведь операции обыкновенно не помогают.

— Что ж, я могу и умереть!—с горечью согласился он, но сразу почувствовал, что не следовало так отвечать.

Он вспомнил, что было время, когда она, бедняжка, говорила ласковые слова и была способна на благородные поступки. Бедная, сраженная жизнью подруга! Теперь она впала в еще более глубокий душевный мрак, чем он сам. Он пожалел, что сказал ей обидное слово, но увидел, что она не почувствовала обиды, а только пристально



вглядывается в его лицо, точно взвешивая искренность его слов. Чувство полного одиночества еще более укрепилось в нем.

Над его тривиальной драмой физических страданий и унижений, происходившей в душном воздухе и среди жужжания мух, точно витало некое гигантское беспощадное существо; оно следило за ним, как ученый, наблюдающий за производимым опытом, и определяло его жизнь, весь его мир. «Ты один,—убеждал его этот склонившийся над ним свидетель его жизни,—Ты совершенно один. Прокляни Бога и умри!».

Прошло много времени, прежде чем м-р Хасс ответил этому воображаемому голосу, а когда ответил, то говорил так, точно обращается только к жене.

— Нет,—сказал он с внезапной решимостью.—Нет, я пойду на операцию. Мы больны, и воля наша ослабела. Плохо было бы и для тебя, и для меня, если бы история нашей жизни оборвалась на том, что происходит с нами теперь. Нет, я пойду до конца.

— И ты настаиваешь, чтобы операцию сделали здесь?

— Да, в этом доме. Это самое подходящее место в наших обстоятельствах.

— А если ты умрешь?

— Что ж—я умру сражаясь.

— И оставишь меня тут с м-сс Крум?

Этот ответ снова вывел его из себя.

— Да, оставлю тебя с м-сс Крум,—резко ответил он. Он встал из-за стола.—Я не могу есть,—повторил он и с угрюмым видом снова сел в кресло, набитое конским волосом.

Последовало долгое молчание, а затем он услышал мелкие, почти мышинные движения жены, когда она принялась за еду. Он забыл на время тупую боль внутри, но теперь она снова вернулась в его сознание, разгораясь

и потухая и потом снова разгораясь. Он совершенно растерялся и чувствовал себя беспомощным: он не собирался ссориться, а вышло так, что наговорил резкостей несчастной женщине, которая раньше была его любовью, его подругой. Он был с ней груб, и его затуманенный мозг не мог придумать, как это исправить. Он мрачно глядел на ставший ему ненавистным мир.



## ГЛАВА ТРЕТЬЯ ТРИ ПОСЕТИТЕЛЯ

### § 1

В то время, как в Сандеринге-на-море происходил этот неутешительный разговор, в одном лондонском клубе, в глубоком выступе окна, выходящего на деревья Карльтон Гарденс, три, залитые солнечным светом, чело- века обсуждали положение м-ра Хасса. Обсуждение про- исходило за завтраком, весьма обильным, хотя в меню и не входили мясные блюда. Они ели салат из омаров, и в кувшине с замороженным белым вином приятно зве- нели кусочки льда, когда сидевшие за столом наполняли свои стаканы. Хозяином был сэр Элифас Барроус, моно- польный фабрикант знаменитых плит из теманита, ко- торые не только внесли полную революцию в сооружение воинских барачков, но поставили на совершенно новую ногу весь вопрос о домах для фабричных рабочих и селъ- ского населения. Он угощал завтраком м-ра Бильяма Дэда, в прежнее время фабриканта знаменитых «wagons de luxe Дэда и Шеуайта», а теперь одного из главных поставщиков аэропланов для Англии, и м-ра Джозефа Фарра, заведующего отделом прикладных знаний в Уол- дингстантонской школе. Сэр Элифас и м-р Дэд были попе- чителями этого заведения и обладали каждый очень боль- шим состоянием; сэр Элифас был некогда воспитанником



отца м-ра Хасса и очень содействовал назначению м-ра Хасса директором Уолдингстантонской школы. Он был художавый старик, с головой хищной птицы на длинной, красной шее. Лицо его сильно обросло на половину рыжими, на половину седыми волосами. Они шли из круга на самой его макушке, из бровей и торчали во все стороны. Руки у него были тоже волосатые. На нем была мягкая синяя рубашка с отложным воротником, просторный костюм из синего шевиота; это—а также и нечто неувимое в фасоне его свободно завязанного широкого, черного галстука,—указывало на ученость и особую изысканность сэра Элифаса. Мanners его отличались выдержанной учтивостью. М-р Дэд был человек более житейского делового типа, чрезвычайно подвижный, настоящий фокс-терьер индустриализма из промышленного центра Англии. У него были серебряные волосы, и костюм его ничем не выделялся, кроме желтого жилета, обшитого ярко коричневой тесьмой. М-р Фарр был толст и одет в серую фланелевую куртку с поясом. У него было широкое, круглое, белое, лоснящееся, гладко выбритое лицо, и руки его все время беспокойно двигались. Было совершенно очевидно, что в боковом кармане у него имеется бумажник и всяческий багаж такого рода.

Они с аппетитом ели омара и пока только урывками и осторожно подходили к делу, которое их собрало в этот день, т. е. к обсуждению несчастий, обрушившихся на м-ра Хасса, и того, как это может отразиться на дальнейшей судьбе школы.

— Я лично того мнения, что несчастий вообще не бывает,—сказал м-р Дэд.—Я не верю в несчастия.—В крайнем случае—ошибка в расчете, если уж вам угодно.

— В некотором смысле,—неопределенно заметил м-р Фарр, взглянув на сэра Элифаса.



— Если у человека голова на месте,—сказал м-р Дэд и взялся предприимчиво и с аппетитом за клешню омара. М-р Дэд стоял за экономию незаконченных фраз.

— Я, к сожалению, полагаю...—заметил на это сэр Элифас, поставив стакан на стол и тщательно вытирая усы и брови, прежде чем приняться снова за омара,—я полагаю, что человек, который, на подобие вдов и сирот, доверяет свои денежные интересы адвокату, обнаруживает крайнюю недалёковидность. Или легкомыслие. Никогда за всю мою жизнь я не встречал адвоката, который умел бы выгодно и без риска помещать капиталы. Священников встречал, а также женщин, дикарей, сумасшедших, преступников, но адвокатов—никогда.

— Я знал очень деловых людей среди пасторов,—рассудительным тоном сказал м-р Дэд.—В особенности одного. Удивительный был проныра. Вообще, пасторов недостаточно ценят у нас.

— Может быть, это и совершенно естественно, что адвокат вкладывает деньги в самые дикие предприятия,—продолжал сэр Элифас развивать свою тему.—Он живет вне обычных условий жизни, в грязной маленькой конторе в каком-нибудь древнем адвокатском доме; вся обстановка в его конторе—устарела лет на пятьдесят. Перед глазами у него, в виде неизменного пейзажа—жестяные ящики, помеченные именами умерших и нечестных клиентов, ему приходится иметь дело с судами, где понаставлены стойла, где люди серьезнейшим образом расхаживают в мантиях и париках из конского волоса, к нему приходят исключительно люди ненормальные или находящиеся в ненормальном состоянии, люди, выведенные из равновесия ревностью, страхом, жертвы шантажа, мошенники, которые пытаются обойти законы, сумасшедшие, люди, ведущие тяжбу и спорящие о наследстве. Если адвокату и приходится обсуждать какие-нибудь финансовые операции, то лишь самые

странные. Естественно поэтому, что он теряет всякое чувство меры. Естественно, что он становится до сумасшествия подозрительным, а когда клиент требует от него решительных действий, он теряется и начинает вести биржевую игру.

— Совершенно естественно,—сказал м-р Дэд.—А вот бедный Хасс передал все свои дела...

— Именно,—сказал сэр Элифас и наполнил свой стакан.

— Он сильно изменился за последние два года,—сказал и м-р Фарр.—Прежде всего он слишком поддается угнетающему влиянию войны.

— Это очень нехорошо,—сказал м-р Дэд.

— И даже до войны...—начал сэр Элифас.

— Даже до войны,—сказал м-р Фарр после паузы.

— В нем стала проявляться перемена,—продолжал сэр Элифас.—Он увлекся разными воспитательными теориями.

— Совсем неподходящее дело для человека, стоящего во главе школы,—заметил м-р Фарр.

— Наша задача заключалась всегда в том, чтобы Уолдингстантон был большой научной и технической школой,—сказал сэр Элифас,—а м-р Хасс ввел логику в преподавание английского языка—против моего желания. Он поощрял некоторых учеников к занятиям философией.

— Вот все, на что его хватало.

— Я никогда не разделял его страсть к преподаванию истории,—сказал м-р Дэд.—Он был помешан на истории. А в конце концов, что такое история? В лучшем случае это дело конченное, раз и навсегда... Но он даже и не хотел спорить об этом—без всяких объяснений. Он был высокомерен. У него была такая манера смотреть на вас, что... А ведь мы совершенно не предполагали превратить Уолдингстантон в специальную школу исторических знаний.



— А теперь скажите, м-р Фарр,—спросил сэр Элифас,—при каких обстоятельствах произошел пожар?

— Не мое дело судить,—сказал м-р Фарр.

— А мое мнение вот какое,—сказал м-р Дэд, вытягивая вперед лицо с очень решительным видом.—Нужно установить ответственность. У с т а н о в и т ь о т в е т с т в е н н о с т ь. Оказалось, что дверь, которой надлежало быть открытой, была заперта. Кто за это отвечает?

— Насколько я мог установить, в помещении школы не было никого специально ответственного за эту дверь,—сказал м-р Фарр.

— Всякая ответственность,—сказал м-р Дэд с выражением упрямой настойчивости, точно рассердившись на м-ра Фарра,—в с я к а я ответственность, не переданная кому-нибудь иному, лежит на главе учреждения. Такого суровое, неумолимое основное правило организации во всяком деле. У меня на фабрике я прямо так и заявляю всем поступающим ко мне, мужчинам и женщинам, взрослым и детям...

М-р Дэд все еще объяснял в целом ряде воображаемых диалогов, сухо, но драматично, свои методы передачи ответственности, когда сэр Элифас прервал его словами:

— Но вернемся на минуту к м-ру Хассу...

Сэр Элифас хотел, главным образом, выяснить, предполагает ли м-р Хасс, что его оставят во главе Уолдинг-стантонской школы. По одной случайной фразе в письме м-ра Хасса можно было заключить, что он совершенно не ожидает отставки.

— Да,—сказал м-р Фарр, подождав минутку, чтобы точно взвесить свой ответ,—он не думает об отставке.

— Тчя!—произнес м-р Дэд и, плотно сжав губы, стал медленно покачивать головой, нахмутив брови, точно укусил себе язык.



— Я первый готов признать, что он оказал огромную пользу школе в начале своей деятельности,—сказал м-р Фарр.—И я менее всего думаю, что нужно изменить уставленный им общий план работы. Я бы только заменил часть преподавания биологии и почти весь исторический хлам—всю эту новую историю—химией и физикой. Но нельзя не указать на то, что м-р Хасс не умел, где нужно, отказаться от единоличной власти и не умел распределять ответственность. Мы все, весь штат—не я один—страдали от этого—состояли, выражаясь мягко, под его опекой. Он готов был мириться с беспорядками в школе, лишь бы не поступаться властью. Это доказывает история с дверью, история с недосмотром сиделки.

М-р Дэд, не разжимая губ, утвердительно закивал головой—каждый кивок был точно удар молота.

— Я был всегда против того, чтобы уделять столько внимания истории,—заметил довольно бессвязно м-р Дэд.—Мы ведь отделались от греческого и латыни, так зачем же возвращаться к тому же самому в другой форме? Он, говорят, преподавал в школе историю Ассирии. Подумайте только—читать ученикам про Ассирию! Современная школа—должна быть современной школой: с практического дела—начинать, практическим делом—кончать, дело—все время. Нужно приучать мальчиков к работе. Нам понадобится их работа—помяните мое слово.

— Некоторое ознакомление с современной культурой,—вставил сэр Элифас.

— Современной,—мягко повторил м-р Фарр.

М-р Дэд ворчливо запротестовал.

— По моему, это заражает учеников разными идеями.

М-р Фарр деликатно настаивал на своем.

— Наука, с должным вниманием к практическим ее применениям, должна несомненно быть основной частью современного преподавания...



Они уже перешли в комнату для курящих и наполовину выкурили три великолепные сигары, прежде чем пойти дальше таких отрывочных выпадов против павшего директора. Наконец м-р Дэд, с решительностью делового человека, перевел беседу на обсуждение практических мер.

— Ну что ж,—сказал м-р Дэд, обращаясь непосредственно к сэру Элифасу,—как нам теперь быть?

— Совершенно ясно, что Уолдингстантон должен вступить в новый фазис существования. То, что произошло, заставляет нас расстаться с м-ром Хассом,—сказал сэр Элифас.—Как я ни сочувствую несчастьям старого друга...

— Словом, это пишется: Фарр,—сказал м-р Дэд.

— Если только он согласится взять на себя это бремя,—сказал сэр Элифас, и улыбнулся м-ру Фарру не столько губами, сколько развевающимися, кивающими хохолками волос.

— Не хочу видеть, как школа пойдет ко дну,—сказал м-р Фарр.—Я отдал ей порядочный кусок жизни.

— Отлично,—сказал м-р Дэд.—Отлично. Стойте на этом. Вы самый для нас подходящий человек. А теперь подумаем, как нам взяться за дело. Прежде всего, я полагаю, нужно объявить это Хассу. Но как это сделать?

Он помолчал, чтобы дать время собеседникам обдумать вопрос.

— По моему,—продолжал он затем,—вот что следует сделать. Нам всем не хотелось бы обидеть м-ра Хасса излишней резкостью. Судьба и без того слишком жестока к нему. Нужно проделать все необходимое как можно мягче. Вот что: я от времени до времени езжу в Сандеринг играть в гольф. Там отличное поле для игры, прекрасно содержится, и большой отель рядом — там вам будет великолепно, как до войны. Об этом специально заботится железная дорога. Так вот, давайте, если у сэра Элифаса



найдется свободное время, поедem туда как бы невзначай и воспользуемся этим случаем, чтобы толком поговорить с Хассом и покончить дело. Кончать все равно нужно — и мне кажется, что лучше поехать к нему и переговорить лично, чем ограничиться письмом. Может быть, мы сможем в личной беседе представить дело так, что он сам откажется от своего места и предложит как раз ту комбинацию, которая нам желательна. В особенности вы, сэр Элифас, будучи, как вы говорите, старым его другом...

## § 2

Трудно было предположить, что м-р Хасс уедет куда-нибудь из Сандеринга-на-море, и м-р Дэд не считал поэтому нужным предупреждать его о предстоящем визите его коллег. Таким образом, все трое узнали о предстоящей операции рака только, когда уже приехали в Сандеринг.

М-р Дэд приехал довольно рано днем в пятницу и направился в Гольф-отель, где заранее заказал комнаты для всей компании. Он очень нуждался в отдыхе и спорте: задача накопления капитала, достаточно большого, чтобы обеспечить богатое будущее британской промышленности, с которой м-р Дэд, в прямоте своих суждений, отождествлял свои собственные интересы, утомила до крайности его мозг. Очень трудно было выполнять эту задачу в учреждении, состоявшем под государственным контролем, и быть постоянно между Сциллой мятежного пролетариата и Харибдой налогов на военные прибыли. К обеду приехал м-р Фарр, а сэр Элифас, которого задержали в Лондоне дела с американским правительством, приехал, уже отобедав в поезде с вагон-рестораном. М-р Фарр успел тем временем навести предварительные справки в «Морской Панораме» и первым узнал об операции.



Сэра Альфея Менго ждали в «Морской Панораме» с первым поездом в субботу. Он назначил операцию до завтрака. Для разговора с м-ром Хассом три посетителя могли поэтому воспользоваться только временем между утренним кофе и приездом сэра Альфея. У м-ра Хасса уже прошла напавшая на него апатия, и он выразил лихорадочное желание непременно поговорить с приехавшими о школе.—Мне хочется обсудить некоторые вопросы,—сказал он,—вопросы очень существенные.—И он попросил придти к нему в половине десятого: тогда останется еще целый час до прихода докторов.

— Он чувствует, что наша беседа будет в некотором роде его завещанием,—сказал м-р Фарр.—У него, конечно, другие взгляды на будущее школы, чем у нас. Все, что он ни сказал бы об Уолдингстантоне, заслуживает, однако, величайшего внимания—я менее всего стал бы это отрицать. Некоторые из нас, быть может, знакомы уже с большинством его теорий и потому более способны предвидеть некоторые его утверждения. Но при сложившихся обстоятельствах это не существенно.

### § 3

В замкнутом кругу «Морской Панорамы» все складывалось с меньшими трудностями, чем опасался м-р Хасс. Перспектива операции имела и приятные стороны для м-сс Крум. Она, быть может, предпочла бы, чтобы объектом операции была м-сс, а не м-р Хасс, но, конечно, не претендовала на то, чтобы желания ее приняты были во внимание. М-р Хасс достаточно щедро уплатил ей, по ее требованию, сверх счета за экстренные услуги, вызванные обстоятельствами. Кроме того, м-сс Крум действительно любила порядок и чистоту. Она доходила до



неистовства во время весенней чистки дома и носилась ураганом, убирая комнаты, а растрепанные волосы м-сс Хасс внушали ей инстинктивное отвращение, почти такое же сильное, как расовая ненависть. Ее поэтому восхищали проворные ловкие движения сестры милосердия, которая пришла устроить операционную комнату в лучшей спальне в доме. М-сс Крум разрешили помогать сестре. Из комнаты вынесли лишнюю мебель, убрали драпировки, все вымыли, выскребли с тем, чтобы в последнюю минуту застлать еще все чистыми, изумительно плотными простынями, принесенными в стерилизованных чехлах. Эти стерилизованные чехлы прямо гипнотизировали м-сс Крум. Она никогда не слыхала ни о чем подобном. Ей бы хотелось держать и свое белье в стерилизованных чехлах, а жильцам давать какое-нибудь другое.

Ей казалось, что она вроде жрицы, прислуживающей при церемонии жертвоприношения — жертвоприношения м-ра Хасса. Она втайне несколько боялась его покорной кротости, знала, что на нее нельзя рассчитывать, что кротость эта может в каждую минуту обратиться против нее. Она подозревала м-ра Хасса в склонности к иронии, а теперь он будет лежать совершенно беспомощный под хлороформом, и его можно будет разглядывать, не нарываясь на сбивающие с толку замечания с его стороны. М-сс Крум убеждала д-ра Баррака позволить ей присутствовать при операции, доказывая, что она будет полезной помощницей в операционной комнате. Воображение рисовало ей изумительную картину Хасса изнутри, в виде большого ящика, наполненного странными и очень интересными внутренностями, с открытой настежь крышкой, и она представляла себе, как сэр Альфей будет глубокомысленно перебирать содержимое ящика со всякого рода критическими замечаниями. Но ей не было дано насладиться этим зрелищем.



Она была очень предупредительна и ласкова в субботу утром, всячески утешала м-ра Хасса и ободряла м-сс Хасс. Она принимала также участие в окончательном превращении спальни в операционную комнату.

— Прямо настоящий госпиталь,—говорила она.—Приятное дело, уход за больными. Я никогда этого прежде не знала.

М-р Хасс вышел из прежнего угнетенного состояния. Он был возбужден и очень решительно настроен, но м-сс Хасс, обиженная общим невниманием к ней—никто, повидимому, не считался ни на минуту с ее чувствами в таких обстоятельствах—сидела больше у себя в комнате, и совершенно неумело шила себе траур, который мог ей теперь понадобиться вдвойне.

#### § 4

М-р Хасс хорошо знал м-ра Фарра. За последние десять лет у него было искреннее желание отделаться от Фарра, но его трудно было заменить в виду его действительно больших знаний в области прикладной химии. В пятницу вечером м-р Хасс говорил с ним пять минут у себя в спальне и ясно понял создавшееся положение: у него хотели отнять Уолдингстантон, его создание, дело его жизни, и передать это дело самому косному, мертвящему души его помощнику. Как ни наивно, но этого м-р Хасс не предвидел. Он никогда бы не ожидал таких дерзких поползновений от Фарра.

Он продумал всю длинную ночь в пятницу. Боль не рассеивала его мыслей. Когда три посетителя явились к м-ру Хассу, он уже принял твердое решение.

Он настоял на том, чтобы встать и одеться.

— Я не могу говорить об Уолдингстантоне, лежа в постели,—сказал он, и так как доктора при нем не было, то некому было воспрепятствовать ему.



Сэр Элифас пришел первым; м-сс Хасс вышла навстречу ему в коридор, отстранила лебезившую перед ним м-сс Крум и ввела его в комнату больного. На сэре Элифасе была перехваченная поясом куртка из плотной бледнозеленой мохнатой ткани. Он произвел самое приятное впечатление на м-сс Хасс.

— Я все думаю о вас, дорогая м-сс Хасс, думаю о вас,—сказал он, нагибаясь к ее руке, и все его волосы на мгновение печально и сочувственно зашевелились, как у больной таксы. М-р Дэд и м-р Фарр вошли через несколько минут после него; м-р Фарр в серых фланелевых панталонах и коричневой жакетке, а м-р Дэд в волокнистом сером костюме с ярко-красным жилетом.

— Милая,—сказал м-р Хасс, обращаясь к жене,—мне нужно поговорить наедине с этими господами.—А когда он увидел, что она медлит уйти, привлеченная участливым отношением сэра Элифаса, то прибавил:—Счета, милая, финансовые вопросы,—и этим прогнал ее из комнаты.

— Знаете,—сказал м-р Дэд, близко подходя к креслу, сморщив рот и начиная с нескольких любезностей делового стиля, прежде чем приступить к серьезной части разговора.—Знаете, мне совершенно не нравится, что вы расхворались, м-р Хасс.

— Верю в ваше сочувствие, так же, как, надеюсь, и сэра Элифаса и Фарра. Возьмите, пожалуйста, стулья, господа, и садитесь.

В то время, как Фарр что-то бормотал о своем сочувствии, а сэр Элифас встряхивал волосами, прежде чем начать приготовленную маленькую речь, м-р Хасс предупредил их и заговорил первый:

— Я отлично знаю, с какой вы приехал целью,—сказал он.—Вы хотите отставить меня от должности директора Уолдингстантона. М-р Фарр очень любезно...



Он поднял бледную, исхудавшую руку, когда м-р Фарр стал протестовать.

— Оставьте,—сказал м-р Хасс.—Но прежде чем вы приступите к выполнению вашего намерения, я бы хотел сказать несколько слов о том, что такое для меня школа и моя работа в ней, и вообще моя работа в деле воспитания. Мне немногим больше пятидесяти лет. Месяц тому назад я имел полное основание надеяться, что у меня впереди еще лет около двадцати работы, прежде чем придется уйти на покой... Затем на меня посыпались все эти несчастья. Я потерял свое независимое материальное положение, потом эти ужасающие смертные случаи в школе. И мой сын, мой единственный сын... убит. Горе омрачило любовь и чуткость моей жены... А теперь еще у меня такие физические боли, что дух мой точно пловец, с трудом прорезывающий волны страданий... далеко от берега...

Все это тяжкие удары. Но самый тяжкий удар, более тяжелый чем все другие... я говорю это не опрометчиво, господа, я все это обдумал в бесконечную бессонную ночь—самым тяжелым последним ударом будет такое отрицание дела всей моей жизни. Это поразит глубину моего существа, мое сердце и душу...

Он остановился.

— Вы напрасно так на это смотрите, м-р Хасс,—возразил м-р Дэд.—Вы несправедливы, объясняя таким образом наши действия.

— Я прошу вас выслушать меня,—сказал м-р Хасс.

— Нас побуждают самые добрые чувства,—продолжал м-р Дэд.

— Дайте мне высказаться,—сказал м-р Хасс тем авторитетным тоном, которым говорил в Уолдингстантоне в течение двадцати пяти лет.—Я не могу спорить и возражать. У нас есть всего только один час для беседы.



М-р Дэд издал приблизительно такой звук, как собака, которая собиралась залаять, а ей вдруг приказали лечь под стол. Он принял на минуту обиженный вид.

— Положить конец моей работе в школе, значит закончить со мною... Я не знаю, почему бы мне в моем теперешнем положении не говорить с вами совершенно откровенно, господа? Почему не поговорить раз в жизни на своем собственном языке? Страдания и смерть—соучастники нашей беседы, и это редкий, трагический случай высказаться с полной откровенностью. Быть может, через какой-нибудь час женщины будут убирать мое тело, и я умолкну на веки. Я скрывал мои религиозные чувства, но теперь в этом нет нужды. Я всегда старался казаться вам чрезвычайно практичным человеком, преследующим собственные интересы. Но втайне я был фанатиком, и Уолдингстантон был алтарем, на котором я приносил себя в жертву Богу. Я виновен в больших упущениях, я знаю. Я был неосмотрителен и опрометчив; это были мои недостатки. Но я отдавал все силы моему делу. Я служил Богу до последних пределов моих сил и знаний... А теперь, когда пришел час мрака, где Бог, которому я служил? Почему он не оградил меня от этого последнего оскорбления делу, которому я посвятил себя?

При этих словах м-р Дэд посмотрел на м-ра Фарра с выражением ужаса в глазах.

Но м-р Хасс продолжал, точно говоря наедине с собою.

— В сегодняшнюю ночь я исследовал свое сердце, я искал в нем низких побуждений и затаенных грехов. Я судил самого себя, чтобы понять, почему Бог скрылся от меня; и я не могу понять причины, не могу найти оправдания... В горечи сердца моего я почти готов уступить вам и согласиться, чтобы вы взяли у меня школу



и сделали с нею, что хотите. От близости смерти все осязательное становится смутным и призрачным, и гораздо более реальным кажется мне теперь мрак, витающий надо мною, как иногда мгла застилает землю в полдень. И мрак этот насмехается надо мною день и ночь, убеждая меня проклясть Бога и умереть...

Почему же я не хочу проклясть Бога и умереть? Почему продолжаю любить свое дело, когда Бог, которому оно посвящено, молчит? Потому, я полагаю, что все еще надеюсь на какой-то знак ободрения. Потому что не считаю себя окончательно побежденным. Если бы я страдал от боли еще в десять раз сильнее, чем страдаю теперь, я все же продолжал бы объяснять вам, почему я хочу, чтобы преподавание в Уолдингстантоне шло и впредь так, как я его поставил, почему вы не в состоянии его так вести и почему я считаю, что вы будете прямо убийцами, если передадите заведывание школой Фарру...

При упоминании его имени м-р Фарр изумленно взглянул сначала на м-ра Дэда, а потом на сэра Элифаса.

— Однако, сказал он, однако! Можно подумать, что я интриговал.

— Простите, м-р Хасс,—сказал сэр Элифас, успокаивая учителя прикладных наук ласковым движением руки,—простите, но я должен сказать, что предложение, чтобы вашим преемником был м-р Фарр, исходило прежде всего от меня.

— Обдумайте еще раз этот вопрос, прежде чем окончательно решать,—сказал м-р Хасс, проводя языком по засохшим губам и глядя прямо перед собою.

Тут в разговор вмешался м-р Дэд, заговорив ворчливым голосом.

— Да разве вы в состоянии обсуждать такие вопросы, м-р Хасс?—сказал он.—У вас жар, вы жалуетесь на боль.



— Я в самом подходящем расположении для нашего разговора,—ответил м-р Хасс...—Так вот, относительно Уолдингстантона. Когда я вступил туда, это была самая обыкновенная школа, где учились около семидесяти мальчиков, и обучение велось по устарелому шаблону. Учили немного латыни и еще меньше греческому—только для того, чтобы сказать, что учат греческому. Преподавали еще обрывки математики и общих знаний, английскую историю—не с общечеловеческой точки зрения, а только узко национальную—срезанные высохшие цветы прошлого, без корней, без всякого смысла; затем—немного французского... Вот, в сущности, и все. Никакого образования детям не давали—была одна только видимость обучения. А теперь—разве можно сравнить с прошлым?

— Мы никогда не жалели денег на школу, — сказал сэр Элифас.

— Никогда не отказывали вам в искреннем содействии,—прибавил м-р Фарр, но почти вполголоса.

— Я говорю теперь не о внешнем процветании школы: дома, лаборатории и музеи, которые разрослись вокруг школы, сами по себе ничто. Суть школы не в помещениях и числе учеников, а в том, что идет от духа. Уолдингстантон сделался факелом, зажигающим жизни. Я зажег там свечу—ветры судеб, быть может, еще раздуют ее в мировой пожар.

М-р Хасс так воодушевился, говоря все это, что ощущение боли исчезло из его сознания.

— В чем задача воспитателя в мире?—продолжал он.— Это величайшая из всех человеческих задач. Он должен возвращать в человеческих душах сознание человечности, божественной сущности человека. Что такое человек, не получивший образования? При своем рождении человек подобен животному. Он жадный эгоист с ненасытными вожделениями, он весь во власти страстей и стра-



хов. Все его интересует, лишь поскольку оно имеет отношение к нему самому. Даже любовь у него связана с расчетом, все его усилия—тщета, потому что ему предстоит смерть. И только мы, учителя, можем поднять его выше исключительных забот о себе самом. Только мы, учителя, можем ввести его в более широкий круг идей, в котором он, наконец, совершенно забудет о себе и своих мелких личных целях. Мы можем открыть ему глаза на прошлое, и на будущее, и на бессмертие человеческого начала. Таким образом, только при нашем посредстве и только через нас он освобождается от смерти и ничтожества. Человек, не получивший образования, ограничен самим собою, одинок в своих стремлениях и своей судьбе, как животное. Образованный человек выходит из этой узкой тюрьмы личного существования и становится причастным неумирающей жизни, которая началась неведомо когда, и растет ввысь, за пределы величия звездных пространств.

Он говорил, точно обращаясь к иным слушателям, чем те три человека, которые сидели подле него. М-р Дэд, подняв брови и сжав губы, кивал молча м-ру Фарру с таким видом, точно подтвердились худшие его подозрения. По разным признакам и сигналам видно было также, что и сэр Элифас собирается вступить в беседу, но м-р Хасс продолжал говорить, не дожидаясь ничьих возражений.

— Я двадцать пять лет управлял Уолдингстантоном,— сказал он,—и в течение всего этого времени я возвращал зрение слепым, я просветил сознание нескольких тысяч мальчиков. Мы вдохнули новую жизнь в омертвелую рутину воспитания. Мои мальчики изучали историю человечества так, что она сделалась как бы их собственным переживанием. Они так изучали географию, что мир сделался их владением. Я ввел обучение языкам для того, чтобы породить в их сознании жизнь минувшего и чтобы открыть



им окна, из которых видны души других народов. Естественным наукам отведена была подобающая им роль. Они вводили моих питомцев в тайники материи и поднимали их ввысь, в область туманностей... Я всегда держал в должном подчинении Фарра и его прикладные науки. Некоторые из моих учеников уже сделались отличными деловыми людьми—именно потому, что они стояли выше обыкновенных деловых людей... Но я никогда не готовил моих воспитанников к коммерческой деятельности и никогда не буду готовить. Мои воспитанники избирали потом либеральные профессии, поступали на государственную службу, жили широкой общественной жизнью и преуспевали на своих местах. У меня бывали и тупые мальчики и мальчики, с которыми трудно было справиться, но почти все они вступили в жизнь джентльмэнами, людьми широких взглядов, хорошего воспитания, чуткими и несвоекорыстными, людьми с большим самообладанием, работниками на общее благо, потому что воспитание их имело целью освободить их дух от всяких низких и мелких помыслов... Когда началась война, мои воспитанники были готовы пожертвовать собой... Они шли на смерть—как много из них пали на фронте! В числе погибших был и мой сын... Я не удерживал его... Уолдингстантон—школа нового типа. Ее традиции только еще начинаются. Ряды окончивших теперь страшно поредели, и неокрепшие устои гнутся, как надломленные побеги... Но мы все же можем жить создавшимися традициями, и они окрепнут, если зажженное мною пламя будет продолжать гореть. Но обучение должно быть таким, каким я его предначертал. Это необходимо... Мои воспитанники стоят на таком высоком уровне, благодаря преподаванию им истории, биологии, философии. В этих предметах заключается мудрость—все остальное имеет лишь значение воспитательной подготовки и накопления знаний. Для того, чтобы школа жила и шла вперед, нужно,



чтобы во главе ее стоял попрежнему человек, способный преподавать историю—историю в самом широком смысле слова. Он должен быть философом, биологом и археологом—так же, как историком. И такое сложное дело вы хотите поручить Фарру! Фарру! Фарр никогда не касался основной работы школы. Он не знает, в чем она заключается. Его умственный горизонт не шире, чем у профессионального игрока в крикет.

М-р Дэд стал выражать нетерпение какими-то неопределенными звуками. Больной продолжал нападать на Фарра, глядя на него горящими глазами. Губы его побелели.

— Химия и физика не были для него способами расширить понимание,—продолжал м-р Хасс.—Он видел в них только вспомогательные средства для коммерческих целей. С тех самых пор, как он поступил в Уолдингстантон, он все время преследовал украдкой собственные цели, работал, пользуясь нашим материалом и в наших лабораториях, мечтая о патенте на какое-нибудь выгодное изобретение. О, я хорошо вас знаю, Фарр! Вы думаете, я ничего не видел, потому что мне не хотелось поднимать скандала? Если бы ему удалось получить выгодный патент, он бы в тот же день бросил преподавание. Он сделался бы тогда таким же коммерсантом, как вы оба. Но при таком отсутствии живого воображения, как у него, нельзя даже ничего изобрести. Он иногда говорил мальчикам об империи, но империя в его понимании—только коммерческий заговор, охраняемый таможенными уставами и не ведущий ни к чему более... И он воображает, что мы воюем с немцами, что мой любимый сын отдал свою жизнь и все другие доблестные юноши—сколько их!—умерли только для того, чтобы мы вытеснили немцев и сделались на их месте первыми торгашами мира. Вот пределы его понимания. Он чужд религии, веры, всякой преданности идеалу. Почему он



хочет занять мое место? Чтобы служить делу как я? Нет! Только потому, что он завидовал моему дому, моему жалованию, моему общественному положению директора школы. Все равно, останусь ли я в живых, или умру, но совершенно недопустимо, чтобы Уолдингстантон, мой Уолдингстантон, перешел в его руки. Отдайте школу ему, и она будет мертвой через самое короткое время.

## § 5

— Господа!—запротестовал м-р Фарр.—У него выступил пот на побледневшем лице.

— Я не имел представления,—воскликнул м-р Дэд,—что дело пойдет так далеко.

Сэр Элифас остановил движением руки возбуждение своих товарищей. Он почувствовал, что должен сам вступить в спор.

— Все это крайне прискорбно...—начал сэр Элифас. Он опустил руки, ухватился за ручку стула, точно для того, чтобы крепко держаться за нее, и стал пристально глядеть вдаль, как бы стараясь разобрать какую-то надпись вдалеке.—Вы ввели странный тон в нашу беседу...—снова начал он.

И только начав в третий раз, он, наконец, заговорил без осечки.

— Мне в высшей степени тяжело,—сказал он,—что приходится—не взирая на то, что вы стоите у самого края великой бездны—говорить с вами иначе, чем в самом сочувственном и сердечном тоне. Но я считаю своим долгом, долгом нас всех, твердо держаться принципов, которыми мы всегда руководствовались в качестве попечителей Уолдингстантонской школы. Вы говорите—я вынужден указать на это—необычайно высокомерно о заведении, в уст-



ройстве которого мы все соучаствовали до некоторой степени. Вы говорите так, точно вы один создали Уолдингстантон. Простите, м-р Хасс, но я должен напомнить вам о фактах, об этих вечных истинах истории. Школа эта, сэр, была основана в широкое время королевы Елизаветы, и много добрых людей заведывали ее судьбой до того, когда несчастное стечение обстоятельств—изъяты на другие цели вклады—привело к временному закрытию школы. Благотворительная комиссия, после должного расследования, воскресила школу лет пятьдесят тому назад, и процветание школы при вас вызвано в значительной степени щедростью гильдии бумажных фабрикантов; скромными членами этой гильдии состоим и мы с Дэдом. Как мне ни тяжело противоречить вам, м-р Хасс, вам—больному и удрученному горем человеку, но я должен вам напомнить обстоятельства, благодаря которым была возможна ваша работа. Нельзя делать кирпичи, не имея соломы, и вам бы не создать Уолдингстантон без денег, добытых столь презируемой вами коммерцией. Ведь это мы, скромные обыватели, сеяли, орошали.

М-р Хасс как будто хотел что-то возразить, но промолчал.

— Как раз то, что я и говорю,—прибавил м-р Дэд, обращаясь за подтверждением к м-ру Фарру.—Уолдингстантон прежде всего современная коммерческая школа. Так ее и нужно вести.

М-р Фарр кивнул в знак согласия и повернул побледневшее лицо к серу Элифасу, выжидательно глядя на него.

— Мы беседуем в такой торжественной обстановке, м-р Хасс,—сказал сэр Элифас,—что мне бы хотелось воздержаться от споров относительно доли и участия каждого из нас в общем деле. Но если вы желаете говорить на эту тему, если вы сами вызываете нас на спор...



Он повернулся к коллегам, как бы обращаясь к ним за поддержкой.

—Продолжайте,—сказал м-р Дэд.—Факты остаются фактами.

## § 6

Сэр Элифас прочистил горло и продолжал читать нечто вдаль, на горизонте.

— Все эти пункты, м-р Хасс,—сказал он,—я затронул только в виде вступления. Главный смысл того, что я хочу сказать, лежит глубже. До сих пор я отвечал лишь на то, что вы говорили относительно нас. Утверждая свою правоту, вы насмехаетесь над нашими жалкими воззрениями, отметаєте их, говорите, что школу нужно продолжать вести в в а ш е м духе, что обучение должно следовать в а ш е м у плану. Вы не допускаете никакого другого мнения. Боже сохрани меня сказать хоть слово в мое собственное оправдание. Я щедро отдавал время и деньги нашей школе—моим секретарям трудно было бы подсчитать, сколько именно ушло у меня на это. Я не пред'являю, однако, никаких претензий—ровно никаких...

Но позвольте перевести наш спор в более широкую и значительную сферу. Вы выступили не только против нас и наших ограниченных стремлений. У вас вырвалось несколько очень странных слов, м-р Хасс. Они крайне изумили и огорчили меня. Вы говорили о неблагодарности не только со стороны людей, но и со стороны Бога. Я едва верил своим ушам, но вы действительно сказали, что Бог не внял, не помог вам, что он тоже покинул вас. Не смотря на похвальнейшие старания с вашей стороны... Вы стоите теперь у самого порога великой тайны, и я поэтому хочу самым серьезным образом убедить вас, что вы неправы.



Сэр Элифас как будто унесся вдаль в своих размышлениях, но вскоре вернулся, как парящий коршун к своей жертве.—Я менее всего желаю навязывать кому-либо мои собственные религиозные воззрения... Я не люблю говорить о своих религиозных чувствах, м-р Хасс. Многие считают меня даже неверующим человеком. Но я вам должен признаться, что многим обязан Богу.

Он сверкнул глазами на больного, снял на мгновение руку со спинки стула и сделал широкий жест своей волосатой клешней.

— Ваше отношение к Богу,—сказал он,—оскорбляет меня бесконечно глубже, чем всякие личные нападки. Подпав под его карающие удары, переживая испытания, которые люди более смиренного духа переносили бы с благодарностью, усматривая в них уроки и предостережения, вы обнаруживаете больше гордыни, больше самоуверенности, больше высокомерия... да, это не слишком сильно сказано: больше высокомерия, м-р Хасс, чем даже в те времена, когда вы нас, бывало, выводили из терпения на школьном празднике в актовом зале, требуя от нас то расширения школьных помещений, то устройства какого-нибудь музея или картинной галереи. Вы не допускали никаких возражений и вменяли нам в долг наши добровольные дары... Вы не цените благость щедрот ни в людях, ни в Боге... Неужели вы не видите ложность такого взгляда, дорогой мой м-р Хасс? Об этом-то я и хочу поговорить с вами. Бог не карает людей бесцельно. Все в мире проникнуто преднамеренностью; всякий воробышек, падающий на землю, падает потому, что такова воля Господа. Неужели совесть ваша так уверена в себе? Неужели все случившееся не будит в вас мысли, что, быть может, ваше поведение и ваше управление Уолдингстантоном вовсе уж не есть такое совершенное служение Богу, как это вы воображаете?



Сэр Элифас остановился, как бы уступая очередь возражениям м-ра Хасса, но возражения не последовало, и он продолжал.

— Я старик,—сказал он,—и хорошо знаком с жизнью. Особенно близко я знаю мир финансистов и промышленников, мир быстрой наживы и случайных соблазнов. Я видел, как складывалась жизнь многих весьма способных молодых людей, которым, повидимому, казалось, что они страшно нужны заждавшемуся их миру. Мне и не вспомнить, скольких повышений был я свидетелем в жизни, сколько знал я планов и предприятий, больших и даже грандиозных. Поднять Уолдингстантон, некогда скромную субсидируемую школу маленького местечка, до его теперешнего положения было для меня делом второстепенным, было отдыхом во время досуга, развлечением среди перегруженности деловой жизни. Мой жизненный опыт гораздо больших размеров. Гораздо больших. И на всем протяжении этого опыта я никогда не видел гибели действительно честных людей, никогда не видел, чтобы окончательно разорился ни в чем неповинный человек, при условии—само собой разумеется—что он соблюдает необходимую в делах осторожность. Бывают, конечно, удачи и неудачи у людей хороших, как и у дурных. Мне случалось видеть, как везло несомненным глупцам,—но это длилось недолго. Я наблюдал также, на какие фокусы идут некоторые ловкие проныры...

Сэр Элифас стал медленно покачивать головой из стороны в сторону, и волосы колыхались у него на голове.

После минутного колебания он решил оказать честь своим собеседникам и поделиться с ними некоторыми автобиографическими воспоминаниями.

— Совсем недавно,—начал он,—к нам явился один человек—это было как раз, когда мы собирались значительно расширить наше производство. Человек этот



был умный, энергичный молодой армянин из Америки. Он как-то проведаль, что мы будем употреблять в производстве каолин, добываемый из полевого шпата; этот побочный продукт получается при новом способе выработки поташа. Так вот, он убедил нас, что нашел способ промывать лондонскую глину и добывать этим путем вполне удовлетворительный каолин, так же пригодный для наших надобностей, как норвежский, и в десять раз более дешевый. Стоимость нашего производства понизилась бы процентов на тридцать. Не считая еще экономии на фрахте. Простите, что я привожу технические подробности. Словом, все было чрезвычайно приемлемо, но я знал при этом с самого начала, что в его каолине остается некоторое количество серы и вследствие этого строительный материал выйдет недостаточно прочным. Это, конечно, не помешало бы нам продавать наши плиты, пользуясь новым каолином, с полной безнаказанностью. Мы не обязаны были знать его отрицательные свойства. Нам нельзя было навязать никакой ответственности, и дело казалось таким ясным и верным, не представляющим никакого риска, что—сознаюсь—оно сильно меня соблазняло. И тогда-то, м-р Хасс, меня образумил Бог. Я получил сокровенное внушение, и чистосердечно расскажу вам, как это произошло. Ночью, когда все вокруг покоилось глубоким сном, я проснулся. Меня охватил беспредельный ужас, я весь до костей дрожал и сидел в постели в таком страхе, что почти не мог отважиться зажечь электрический свет; волосы подымались у меня дыбом на голове. Я ничего не видел, не слышал, но мне казалось, точно перед лицом моим пронесся дух. И среди полного молчания что-то будто сказало мне:—А как насчет Бога, сэр Элифас? Вы, кажется, в конце-концов, забыли о нем? Вы думаете строить жилища из глины, основа которой—прах, и все-таки надее-



тесъ уйти от суда Господня?—Вот и все, что я услышал. Только слова: «основа которой—прах». Они попали прямо в цель. Я не религиозный человек, м-р Хасс, но я отказался от предложения армянина.

М-р Дэд издал неопределенный звук, давая этим понять, что и он поступил бы совершенно так же.

— Я рассказал об этом случае, об этом вмешательстве свыше—и оно было далеко не единственным в моей жизни,—чтобы выяснить вам мой взгляд. Я считаю, что если какое-нибудь предприятие, даже такое полезное и по видимости добросовестное, как Уолдингстантонская школа, начинает вдруг разваливаться и чахнуть, то это значит, что как-то и где-то вы употребили на постройку недоброкачественную глину. Это не значит, что Бог неправ и несправедливо отступился от вас, а значит, что вина на вашей стороне. Вы, правда, теперь великий и прославленный учитель, м-р Хасс (в довольно значительной мере благодаря пьедесталу, который мы соорудили для вас), но Бог—гораздо более великий и более прославленный учитель, чем вы. Его вы, очевидно, не убедите—даже если вы, быть может, и убедите нас. Его вы не убедите в том, что Уолдингстантон теперь находится в совершенном состоянии. Вот, в сущности, все, что я хотел сказать. Когда мы скромно намереваемся повернуть школу на новый, менее притязательный путь и вы восстаете против этого, то вот наш ответ. Если бы все, что вы делали в Уолдингстантоне, было так хорошо и мудро, как вы утверждаете, то вы не очутились бы в вашем теперешнем положении, и этот наш спор никогда бы и не возник.

Он остановился.

— Верно и достойно сказано!—воскликнул м-р Дэд.—Вы ответили и за меня, сэр Элифас,—гораздо лучше, чем это сделал бы я сам. Благодарю вас.

Он отрывисто кашлянул.



§ 7

— Вопрос, который вы мне ставите, я уже сам себе предлагал,—сказал м-р Хасс и глубоко задумался на минуту.

— Нет,—сказал он затем,—вы меня не убедили, что вина на моей стороне. Я продолжаю верить, что дело мое правое, правое по духу и по моим намерениям, верное по замыслу и методам. Вы убеждаете меня признать, что вера моя разбита и повергнута во прах, а на самом деле вера моя более крепка, чем когда-либо. В сердце моем живет Бог, или, по крайней мере, в сердце моем живет тот Бог, который вел меня всегда к добру и ведет меня и теперь. Моя совесть остается по прежнему неприступной. Несчастья, в которых вы усматриваете испытания и предостережения, представляются мне необъяснимыми катастрофами. Они удручают меня, но они не сломили мой дух. Они кажутся мне бесцельными, бессмысленными...

— Это ужасно!—сказал м-р Дэд, глубоко возмущившись.

— Вы сами, сэр Элифас, вызвали меня на то, чтобы перейти от школьных дел к обсуждению коренных вопросов. Вы заговорили о нравственном начале, которое правит миром. Я сам, с той минуты, как приехал в Сандеринг, терзаюсь вопросом, действительно ли неудача—знак осуждения, а успех—солнечный свет Божьего благоволения. Вы верите, что великий Бог небесных светил, морей и гор следит за нашим поведением и откликается на наши поступки. По вашему, его понимание должно такое же, как наше, что у него общие с нами цели. В вашем собственном преуспевании вы усматриваете знак вашего единомыслия с верховным началом мира, с Богом...



— Так далеко я не иду,—возразил м-р Дэд.—Не нужно зазнаваться.

— А мои несчастья, по вашему, знак его неодобрения. И я так думал—я тоже верил, что понимание добра, отраженное совестью школьного учителя, совпадает с нравственными устоями, предначертанными судьбой. Я тоже проникся этой очень удобной уверенностью в вопросе о житейском благополучии. Но ряд ударов, сразивших меня, и, в довершение всего, ваше намерение уничтожить мое дело, то, что давало смысл моей жизни, все это ставит меня лицом к лицу с вопросом: имеет ли строй великой вселенной, имеет ли Бог небесных светил какое-либо отношение к вопросам нашей совести, к стремлениям человека к добру? Вопрос этот слышится мне на протяжении всех минувших веков... В этом смысле я всегда признавал себя христианином...

— Надеюсь, что вы действительно христианин!—воскликнул м-р Дэд.—Это неперемнное требование школьного устава со дня основания школы.—Ибо, как я понимаю, христианство утверждает в прекрасной символической форме, что Бог, живущий в наших сердцах, тождествен с отцом вселенной и в то же время с его возлюбленным сыном, непрерывно и вечно рождаемым отцовским началом вселенной и распинаемым лишь с тем, чтобы побеждать. Он вступил в наши бедные жизни, чтобы поднять их до своей высоты. Но верить в это, значит верить в значение и непрерывность общих усилий и стремлений человечества. Жизнь человека должна быть точно разливающееся море огня. Если же правые и виноватые осуждены на одинаковую гибель, если существуют на свете бесцельные и бесплодные страдания, если нет надежды, что благие начинания приводят к вечной жизни, то это отнимает всякий смысл у такого вероучения, как христианство. Оно сводится тогда к суеверию жрецов и



жертв, и я, значит, вкладывал в него то, чего в нем нет. Ночничек нашей веры горит на ветру среди мрака, который никогда не сменится зарей.

— Нет,—сказал сэр Элифас,—нет. Если в свершенном вами есть Бог, то мы не сможем уничтожить ваше дело.

— Вы очень уж стараетесь разрушить его,—возразил м-р Хасс,—и теперь я утратил уверенность, что вам это не удастся... Было время, когда я бы наверно одолел вас, но теперь я не надеюсь... Я провел здесь, сидя в кресле, томительные и страшные дни, и лежал без сна в течение нескольких нескончаемых ночей. Я думал о многом таком, о чем люди стараются не вспоминать в счастливые дни, и я утратил прежнюю веру в то, что мир—есть благо, независимое от нас, другими словами,—благо в плане Судьбы. Быть может, свет Божий мерцает только в нас, в наших сердцах, и мерцает очень слабо. Быть может, там, где, как нам кажется, всем правит в мире Бог, родственный нам по духу, на самом деле нет ничего, кроме черной пустоты и холода, более страшного, чем всякая жестокость.

М-р Дэд порывался прервать его и лишь с большим усилием сдержал себя.

— В душеспасительных книгах постоянно утверждают—это в них одно из общих мест,—что в природе все совершенно, и все мироздание являло бы собой совершенство, если бы не греховность человека. Пэйлей, если помните, сэр Элифас, утверждает в своих «Доказательствах истины христианства», что земной мир по всей очевидности создан для счастья живущих в нем и одаренных способностью чувствования существ. Но я прошу вас подумать совершенно беспристрастно о том, не являет ли жизнь, напротив того, на всех своих ступенях вплоть до человека и включая его, только тревоги,



несовершенные удовлетворения и совершенно определенные страдания.

## § 8

— А не находите ли вы, что такие высокие материи—не для нас?—не выдержал, наконец, м-р Дэд.—Скажем просто, слишком высокие... Какая цель таких придилок и вопросов, м-р Хасс? Какая от них польза? Зачем вдаваться во все это? Не лучше ли скромно представить такие глубокие вопросы людям, которые специально занимаются их изучением? Мы, ведь, не знаем движущих пружин в этом деле. Не можем знать. Вот, например, вы и м-р Фарр: оба вы, так сказать, цеховые школьные учителя. А вот сэр Элифас трудится день и ночь, чтобы строить дешевые удобные дома для рабочих, при чем они, вероятно, и спасибо ему не скажут, когда дома будут готовы. Я—инженер, завален работой, у меня нет достаточного числа служащих, не говоря уже о несправедливых и невозможных требованиях рабочих, так что никогда не чувствуешь себя устойчиво и не знаешь, чего еще они от тебя потребуют. И вдруг, среди всего этого, мы заводим всякие тары-бары о благодати Божией!

Мы люди занятые, м-р Хасс. Откуда нам знать, действительно ли мир построен на «несовершенных удовлетворениях» и как это там у вас еще. К чему все это? Какое это имеет конкретное значение? Все это слова, одни слова, и это отклоняет нас от простого и определенного вопроса, о котором мы приехали поговорить, чтобы решить его и покончить с этим делом. А такие разговоры, как вы затеяли, сознаюсь, мне очень не по душе. С меня довольно Библии и простой веры, которой я учился ребенком, сидя на коленях у матери. Большого



мне ничего не надо. Не лучше ли просто верить и совершенно не касаться всех таких вопросов? Что такое люди, говоря правду? Со всеми их рассуждениями? Черви и больше ничего. Так уж будем по крайней мере достаточно скромны, чтобы вести себя соответственно и заниматься по мере сил своим делом в том положении в жизни, в какое Богу угодно было поставить нас. Вот каково мое мнение,—сказал м-р Дэд.

Он откинул назад голову, отрывисто кашлянул, поправил галстук и кивнул м-ру Фарру с решительным видом.

— Простое, определенное коммерческое и техническое образование,—прибавил он в виде заключительного пояснения.—Вот какова наша задача.

## § 9

М-р Хасс смотрел несколько мгновений на м-ра Дэда отсутствующим взглядом и потом заговорил:

— Взглянем прямо и честно на окружающий нас мир. Какова истинная судьба всего живого? Разве есть малейшее основание предполагать, что наши представления о справедливости и счастье отражены во внешнем мире? Животные, например, разве им хорошо живется? Здоровье и благополучие составляют ли нормальное явление в мире животных?

Он остановился. М-р Дэд встал и выглянул из окна, повернувшись спиной к м-ру Хассу.

— Теперь уж вы разносите в щепки природу,—сказал он через плечо, потом повернулся и прибавил с раздражением в голосе:—Предположим, что всё это действительно верно, какой же смысл нам вдаваться в это? Какая от этого польза?



Но лицо сэра Элифаса обнаруживало готовность слушать.

— Прежде чем я здесь заболел и перестал выходить из дому,—сказал м-р Хасс,—я пошел раз гулять за город. Я чувствовал усталость, еще не выходя из дому, но мною овладело непреодолимое желание вырваться из обычной обстановки. Мне хотелось во что бы то ни стало уйти из этой ужасной комнаты, мне хотелось остаться одному, с уверенностью, что мне не будут мешать, что я могу на свободе отдаться своим мыслям. Погода была обманно соблазнительная, солнечная, и дул приятный ветерок. Мне говорили, что приблизительно в одной миле вглубь берега есть лес, и воображение рисовало мне прохладную зеленую тень, журчащие ручейки среди деревьев и близость робких и кротких созданий. Так я шел по жаре, навстречу сухому соленому ветру, сквозь блеск и чернильные тени; мне пришлось пройти полями гораздо больше, чем я ожидал, пока я, наконец, пришел куда-то в лес, а потом в запущенный парк и там сел отдохнуть...

Но мне не удалось посидеть. На траве было грязно из-за множества овец, которые там паслись, а кроме того, в траве рос низкий, но очень колючий чертополох; и затем, вскоре я обнаружил присутствие огромного количества полевых жучков, этих микроскопических красных насекомых, которые нападают на человека на меловой почве, забираются под кожу и производят почти нестерпимый зуд. Я встал и пошел дальше, тщетно надеясь, что мне попадется где-нибудь по пути забор или ворота, где можно будет отдохнуть с большим удобством. В воздухе носились мухи и комары; их было куда больше, чем здесь в городе, и самых различных пород, они все более и более преследовали меня. Они окружили меня жужжащим облаком, и приходилось махать все время палкой над головой, что-



бы отгонять их. Я очень устал и был не в силах идти назад пешком; но я знал, что, пройду милю с небольшим и попаду в деревню, откуда, вероятно, уже удастся как ни-будь проехать в город.

И в то время как я плелся по дороге, мне попадалось на глаза то одно, то другое, и все это настолько отвечало моему настроению, что, казалось, какой-то враг нарочно ставил это на моем пути. Первое, что я увидел, был совсем молоденький кролик, длиной с мою руку: какое-то жестокое существо вытащило его из норы. Затылок у него был перегрызен, растерзан и весь в крови; из гноившихся ран поднялся мне в лицо рой мух, точно целое облако свидетелей свершенного зверства. Я пошел дальше, стараясь рассеяться от тяжелого впечатления.

Оглядываясь кругом и отыскивая что-нибудь более приятное для взора, я увидел ряд маленьких темных предметов на кусте боярышника. Когда я подошел ближе, оказалось, что это было штук шесть жертв какой-нибудь хищной птицы—жуки, птенцы, несколько мышей; все они были наколоты на шипы, скрюченные в таких мучительных позах, точно страшно страдали, умирая, и последней судорогой истерзанного тела призывали меня стать судьей между ними и их творцом... Немножко дальше я натолкнулся на худую, свирепого вида кошку. У нее была ржаво-черная, местами вылезшая шерсть; она внезапно выскочила навстречу мне с боковой дорожки, выронила при виде меня что-то, что держала во рту, и у ног моих забилась маленькая, смятая, сильно искалеченная птичка. Она стала кружиться низко над травой, и билась крылышками, не в силах подняться. На меня напала бессильная слепая ярость. Увидав, что кошка остановилась в нескольких ярдах от меня, оглянулась и как будто двинулась, чтобы снова овладеть своей жертвой, я с криком бросился за нею. Но потом я опомнился и сообразил: чем преследовать



злосчастную кошку, лучше вернуться и положить конец страданиям птички. Я сначала не мог найти ее и лихорадочно обшаривал кусты, стонал и ругался при этом. Когда я, наконец, нашел птичку, она стала отбиваться своими жалкими, окровавленными крылышками и набрасывалась на меня клювом, так что я почувствовал себя скорее убийцей, нежели избавителем. Я хватил ее палкой, и когда она все еще продолжала шевелиться, растоптал ее ногами. Потом я убежал от ее трупa в мучительном ужасе. «И этот ад,—воскликнул я,—этот разоблаченный ад и есть мир, созданный Богом!»

— Что за вздор!—воскликнул м-р Дэд.

— Мне вдруг показалось, что у меня спала завеса с глаз, и я увидел жизнь такой, какова она в действительности. Казалось, что мир сбросил маску, которую носил до того, и открыл мне свое истинное лицо, а лицо это выражало беспредельную злобу... Точно какая-то злая сила реяла над моей головой и следила за мною насмехующимся взором. И в течение целого дня я не мог думать ни о чем другом, как только о жалких страданиях всего живого. Я переживал муки и мне казалось, что вся жизнь вокруг меня обречена на муки. Я не нашел деревню, которую искал, долго блуждал и вернулся домой уже вечером, то останавливаясь по дороге, когда мне становилось дурно, то опускаясь на колени, или ложась отдохнуть, и меня бросало то в холод, то в жар, лихорадка все усиливалась.

Вы знаете, что я первый вбежал в лабораторию, когда бедный Уильямсон лежал и не мог шевельнуться, облитый кислотами. Страшный вид его, как и вид обгоревших трупов двух мальчиков, погибших во время пожара в школе, никогда не выходят у меня из памяти; но в тот день, когда природа оскалила передо мною зубы, я больше всего думал только о том, как несчастны животные. Не знаю, почему это было мне больше всего и представля-



лось самым коренным вопросом. Быть может, потому, что в страданиях человека есть исход нравственного порядка. Человек может оглянуться назад и заглянуть вперед, может найти таким путем отдаленные и суровые утешения, отвлекающие его от страданий данной минуты. Но у бедных птичек и животных нет ничего, кроме того, что они испытывают в данный момент; на этом предел каждой отдельной жизни в животном мире. Какая же может быть справедливость в страданиях, которым они подвергаются? Я стал перебирать в уме всех животных и не мог придумать ни одного, которому бы дано было больше, чем проблеск мнимого и ничтожного удовлетворения среди непрерывных страданий,—да и он дается лишь изредка. И теперь, господа, когда я сижу тут с вами, такое же мрачное убеждение пронизывает мой мозг. Я вижу, что жизнь лишь слабое, ничтожное сотрясение среди пыли пространства и времени, неспособное преодолеть даже своих внутренних противоречий, обреченное на заблуждения, неразумные и незаслуженные наказания, на бесцельные жалобы и, наконец, на исчезновение.

Существует ли хоть одно здоровое живое создание в мире? Я в этом сомневаюсь. Когда я блуждал в тот день, я стал ближе чем обыкновенно приглядываться к деревьям. Не было ни одного, у которого не было бы сломанного или сгнившего сука, которое не было бы усеяно обломками погибших ветвей, гниющих на самом стволе. На каждом изломе виднелись темные пятна разложения, кора была согнута и скрючена, и выступавшая из-под нее плесень указывала на скрытый очаг болезни. Листья были усеяны наростами и пятнами, изгрызены и изъязвлены мириадами врагов. Я заметил также, что трава у меня под ногами была тоже увядшая, засохшая и блеклая. Нити паутины и сотни разнообразнейших пород пауков подстерегали и ловили в западни бесчисленных насекомых в увядающих осенних



кустах. Живые изгороди были медленной борьбой напирających и давящих все на пути растений, и среди них каждая отдельная особь была более или менее изувеченной или захиревшей. Большинство растений были вооружены, как убийцы: у них были большие шипы или колючие волосы, на которых зрели ядовитые ягоды. И все это был истинный лик жизни,—не какое-нибудь исключительное состояние природы, а раскрывающаяся правда бытия. Прежде я был слеп, а теперь прозрел. И весь мир таков, как эти леса и эта глушь...

В книге, которая случайно попалась мне в руки как раз здесь, я прочел про индийские джунгли. Многие думают, что они покрыты изумительнейшей, роскошной растительностью. На самом деле большую часть года они представляют собой жаркие тернистые пространства, где все потемнело, высохло и рассыпается пылью. Потом наступает пора сырости и ливней и затем, в течение короткого времени, происходит стремительный хаотический рост борющейся зелени, пробивающей себе путь, задыхающейся, раздираемой и поедаемой множеством животных и ужасающим разнообразием насекомых, вызванных к жизни душной сыростью. Тогда, под сухим дыханием разрушителя, вся роскошь растительности отцветает и вянет, все созревает и опадает, и джунгли снова являют лишь пасмурный зной и мрачное брожение. И везде точно так же пора произрастания—это бешеная борьба за существование; остальная же часть года—это сложная система уничтожения, убийства. Разве вы не видите, как даже в нашем британском климате лето заглушает щедрые обещания весны? Наша весна, действительно, пора надежд, распускающейся природы, цветения. Птицы поют и вьют гнезда, воздух какой-то особенно чистый, появляются первые, сравнительно невинные создания. Но непосредственно вслед за этой свежестью, являются мор и паразиты. Они несут за-



разу и жалят,—эти фавориты гибели и страданий, усталости и болезней.

Вы скажете, что я придаю слишком много значения недостаткам в жизни растений, которые сами ничего не чувствуют, и в жизни насекомых и маленьких созданий, чувства которых, вероятно, отличны от наших. Но, ведь, несовершенство и разложение в их жизни составляют общую ткань бытия. Даже все действительно живое живо лишь наполовину. Вы, может быть, возразите, что, во всяком случае, более редкостные, более крупные по размерам животные вносят известное благородство и отраду в жизнь. Но присмотритесь к жизни травоядных; все это затравленные существа. Страх—обычное состояние их духа, даже огромные индейские буйволы убегают от преследований в паническом страхе. Их вечно терзают рои насекомых. Они или апатичны, или их обуревают злоба, раздражение против жизни. Вспышки полового инстинкта в определенные периоды года видимо связаны с сильными мучениями и сопровождаются свирепым воем, взаимным преследованием и отчаянными драками. Такие животные, как носорог или буйвол, находятся всегда в состоянии бешенства; они убегают, разрушая все на пути без всякой видимой причины. Тоже самое часто случается и со слонами, проявляющими какую-то стихийную злобу против всего живого...

А если обратиться к большим плотоядным животным, которые, казалось бы, должны быть господами в мире джунглей, то оказывается, что их участь ничуть не более счастлива. Тигр живет в вечном страхе и сворачивает с дороги при виде какой-нибудь грязной тряпки. Когда он не спит, то проводит время главным образом в том, чтобы высматривать добычу для утоления голода. Когда он убивает добычу, то жадно пожирает ее тотчас же и ест так, что об'едается и потом лежит в камышах или кустах и не может двинуться с места. Охотнику приходится выби-



вать его из засады, и он лениво и нехотя выходит оттуда навстречу смерти. Кроме того, у него до странности нежные лапы. Они всегда в занозах от шипов, и он натирает их до крови, когда пройдет несколько миль по камням... Пасть у него до того нечистая внутри, что укус его ядовит...

Весь тот день я боролся против все укреплявшейся в сознании мысли, что высшая ступень довольства у животных—подобна случайной улыбке на мрачном нечеловеческом лице. Я старался припомнить каких-нибудь животных, имеющих веселый и довольный вид...

И я вспомнил только еще об одном ужасе...

Вы, вероятно, видели изображения и фотографии пингвинов. Они, конечно, производили на вас такое именно впечатление, какое мне и хотелось воскресить в памяти. Они преисполнены потешной важности, самодовольства почтенных олдермэнов. Но во мне одна мысль о пингвинах вызывает представление о великих муках. Я вам сейчас расскажу... Один из моих прежних воспитанников около года назад вернулся из экспедиции на южный полюс и навестил меня; он рассказал мне, какова на самом деле судьба этих птиц. Их жизнь, говорил он, имея в виду главным образом высшую, королевскую породу пингвинов, их жизнь—постоянное мучение, вызванное чудовищно преувеличенным материнским инстинктом. Инстинкт этот свойствен обоим полам, что является необходимым условием для сохранения потомства на густо заселенных островках среди полярных льдов. Этот инстинкт превращает жизнь пингвинов в сплошную муку. Множество яиц у них разбивается по разным причинам; кроме того, среди птенцов огромная смертность: они соскальзывают в трещины, замерзают на смерть и т. д.; три четверти выводка каждый год погибает, и если бы не эта необычайная заботливость родителей—порода их



наверное бы вымерла. Каждый пингвин поэтому обуреваем мучительным желанием высидеть яйцо и уберечь птенца. Но у каждой пары бывает не более одного яйца в год; яйца бьются, скатываются в воду, в яйцах всегда большая нехватка, и каждый пингвин, у которого есть яйцо, должен ревниво стеречь его, а если яйца нет, вынужден украсть его или отбить у других. Случается, что иные пингвины, дойдя до отчаяния, няньчатся с камешком или льдинкой; иные, счастливые тем, что обзавелись яйцом, не покидают гнезда целыми днями, несмотря на терзания страшного полярного голода. Оставить хоть на минуту гнездо, значит привлечь разбойника, и как сильны эти их чувства к потомству, видно из того, что они дерутся на смерть за украденное яйцо. Вы видите: эти картины птичьих островов, населенных смешными, как будто, птицами, на самом деле представляют собой зрелище несчастных, тупых существ, озабоченных и неустанно напрягающих свои силы до последних пределов. Такою была их жизнь всегда...

А теперь история королевских пингвинов близится к концу. Я вам расскажу ее развязку. Я вам расскажу, что происходит в мирных южных морях как раз теперь. Этот мой прежний ученик был глубоко возмущен гнусным промыслом, который там теперь возник... Если его не запретят, то все птичьи поселки окончательно погибнут. Пингвинов истребляют всех без остатка для вытапливания из них жира. Партии людей высаживаются и сгоняют пингвинов к гнездам, откуда бедные, глупые птицы сами ни за что не двинутся. Тогда, мертвых и оглушенных, живых и мертвых вместе, их тащат и бросают в железные чаны, там их варят и вытапливают из них жир... Искалеченных живых птиц бросают вместе с мертвыми... От каждой птицы прибыли получается не больше, чем на фаринг, но и это окупает охоту на них, и вот, их спо-



койно убивают. Люди, которые занимаются этим промыслом, очевидно получили разумное коммерческое воспитание. Они убеждены: если Бог дает нам силу, так это для того, чтобы пользоваться ею; и они убеждены: все, что доходно, тем самым и справедливо.

— Ну, знаете,—запротестовал м-р Дэд.—Знаете, это в самом деле...

М-р Фарр тоже обнаружил явное желание вступить в разговор. Он откашлялся, ухватился вечно ерзающими руками за край стола, и лицо его лоснилось.

— Сэр Элифас...—начал он.

— Дайте мне кончить,—сказал м-р Хасс.—Я должен еще напомнить вам о самых неопровержимых фактах, касающихся нашего спора. Думали ли вы когда-нибудь о назначении таких созданий, как энтозоиды<sup>1)</sup> и огромное количество разных пород паразитов, самое существование которых представляет собою жестокость? Есть сотни семейств и родов насекомых, раковидных пауков, червей и иных низших существ, которые, самым сложным образом, приспособлены к тому, чтобы жить на счет живых и страдающих тканей других тварей и не могут жить иным образом. Думали ли вы когда-нибудь, что это значит? Если эти ужасы созданы преднамеренно, то что могло быть благостного в такой преднамеренности? Я не стану расстраивать вас слишком точным описанием жизненного круга какого-либо из этих созданий. Не буду останавливаться, например, на тех осах, которые кладут яйца в живые тела жертв: личинки этих ос медленно гложут живое тело день за днем, гложут и растут, пока не умрет питающее их тело... Не стану я говорить и о бессмысленном произрастании клеточек, избравших в виде почвы

---

<sup>1)</sup> Микроорганизмы, живущие в тканях и внутренно стях живых существ.



мое тело, и ни о какой другой из тысячи заразных болезней, нападающих на нас без всякого основания, с полной несправедливостью...

Человек меньше всех других созданий подвержен вторжению паразитов в свой организм. В краткий промежуток нескольких сот тысяч лет он изменил свое питание, жилье, все способы и привычки жизни, и паразиты сравнительно немногих пород, всего, кажется, тридцати или, самое большое, сорока, освоились с его видоизменениями и приспособились к нему в новых условиях. Но все же и человеку приходится иногда давать приют ужаснейшим гостям. Всякий раз, как вы пьете воду из открытого водоема, вблизи которого пасутся овцы, вы рискуете проглотить личинку печеночного червя, а он превратит вашу печень в маленький поселок гнуснейших существ. Они поедают всю печень, а потом чрез рыхлые остатки ее проникают в пещеры ваших внутренностей и разрушают их. В Европе такие случаи очень редки, но в Китае есть обширные местности, где эти черви водятся в огромном количестве, и они подтачивают жизнь тысяч людей... Печеночный червь только один пример такого рода подвигов Создателя. Невымытый лист салата может посеять у вас в мозгу паразитов, вызывающих опухоль—и низвергнуть с трона ваш рассудок; вы съели недожаренный кусок свинины, и это может вызвать мучительное, медленное отравление трихинами... Но все, что в этом роде претерпевает человек, ничто перед страданиями животных. Для них—такие пытки предрешены и неминуемы. Наш учитель биологии говорил мне, что если разрезать треску или акулу—редко бывает, чтобы в ней не оказались целые гроздья какой-нибудь породы червей или иных бледных жильцов, завладевших внутренностями рыбы. У него собраны также целые ряды трубочек с разными паразитами, найденными во внутренностях кроликов...



Но я не стану вас больше расстраивать всем этим...

Неужели же это—мир, созданный для счастья существ, одаренных способностью чувствовать? Я спрашиваю вас, что иное, кроме бунта, остается человеку перед лицом таких фактов? Как верить Творцу, который измыслил и произвел этих паразитов во всем их бесконечном множестве и многообразии? Все это ведь не принадлежит к области чего-то случайно возникшего или вызванного особым не общим решением. Эти существа созданы изумительным и страшным образом, путем такой же медленной и обдуманной эволюции, как эволюция человека. Как может человек верить в справедливое отношение к себе такого Творца? Зачем отворачиваться от фактов, которые прямо колют глаза? Или жизнь есть создание существа, проникнутого злым умыслом, нечистым, мелочным и в то же время гигантским, или же она обнаруживает необдуманность, равнодушие, отсутствие чувства справедливости...

Голос м-ра Хасса ослабел.

## § 10

М-р Фарр уже несколько времени выказывал знаки нетерпения. Когда м-р Хасс остановился, он воспользовался случаем, чтобы вступить в разговор и стал говорить, как бы сдерживая обуревающий его поток слов.

— Сэр Элифас, м-р Дэд, после всего, что произошло по отношению ко мне, я бы предпочел не вмешиваться в спор и ничего не сказать. Ровно ничего. И поскольку дело касается лично меня, я ничего не скажу. Но тут задеты вопросы, по которым я не могу не высказаться. М-р Хасс говорил ужасные вещи, и, во всяком случае, совершенно недопустимо, чтобы все это говорилось в Уолдингстантоне...

Подумайте, какое впечатление такие теории могут оказать на юных восприимчивых мальчиков! Подумайте,



каковы будут последствия, если такой ужас проповедуется со школьной кафедры. При всей моей неохоте к спорам, при полном нежелании спорить, в особенности с м-ром Хассом, я чувствую все же, что мой долг возразить против таких придирок к творению Божию, против такой хулы. Мы должны ответить ему, ясно и твердо. Это наш долг перед Богом, сотворившим нас...

Вы, м-р Хасс, в вашем болезненном состоянии, очевидно, не сознаете чудовищность вашего эгоизма, когда так осуждаете чудеса Господни. Впрочем, вы всегда отличались этим недостатком. Я достаточно настрадался от вашей надменной самонадеянности в течение целых двенадцати лет. Вы один всегда правы; так это было тогда, так осталось и теперь. Только ваша истина непреложна. О, если бы Бог заговорил и разверз уста против вас! Как его голос потряс бы и вас, и нас, и все вокруг! Как бы вы с'ежились со всем вашим богохульством!

— Простите, господа, если я говорю слишком резко,—сказал м-р Фарр,—проводя языком по высохшим, побелевшим губам.

М-р Дэд энергично кивнул головой в знак одобрения, и, ободренный его жестом, м-р Фарр продолжал.

Войдя сюда —сказал он,—я всей душой соболезновал вашим страданиям, м-р Хасс. Мы все чрезвычайно жалели вас; но теперь мне совершенно ясно, что Бог покарал вас гораздо менее, чем вы того заслужили. Самый большой грех, несомненно, гордыня. Вы критикуете и уничтожаете мир Господень; но какой мир дали бы вы нам, м-р Хасс, если бы сами были творцом? Простите, господа, если мой вопрос покажется вам странным: я считаю, что имею право предложить его. При всех чудесах, которые вы совершили в Уолдингстантоне, несмотря на то, что никогда до вас не было и никогда не будет и не может быть такого директора, как вы, несмотря на то,



что вы засветили светоч, который когда-нибудь зажжет мировой пожар,—все же Уолдингстантон, конечно, недостаточно широкое поле деятельности для вас. Вам следует стоять не во главе школы, а во главе вселенной. Тогда, только тогда вы проявите полностью свои таланты. Тогда кошки перестанут поедать птичек, и деревья будут расти совершенно прямо, пока не загромождают неба. Я могу себе представить, что бы это был за мир: даже блохи, преобразенные и перевоспитанные вами, поражали бы своим здоровьем и цветущим видом и работали бы за бойскоутов; каждая былинка была бы по меньшей мере шести футов длины. Что касается печеночного червя—то вопрос о печеночном черве я должен оставить открытым. Вы, вероятно, придумаете какие-нибудь способы приятного усыпления для всех паразитов...

М-р Фарр перешел вдруг из злобно-насмешливого тона в серьезный и стал убеждать больного.

— М-р Хасс,—сказал он,—вы находитесь в состоянии смертельной опасности, и я настойчиво советую вам обдумать хорошенько свои безумные и безнравственные речи. Вы берете несколько внешних фактов жизни и производите суждения на основании их; вы мерите жалким аршином своего разума замыслы Божии, замыслы, переступающие пределы земли, более широкие, нежели океан. Я спрашиваю вас, неужели такая дерзость поможет вам в этот тяжкий час вашей жизни? Быть может, осталось немного времени...

Провидение явно решило предоставить м-ру Фарру торжество высочайшего драматического эффекта.

— Что это такое?—спросил вдруг Фарр. Он встал и выглянул в окно.

Кто-то позвонил, а потом стал нетерпеливо стучать кольцом в двери «Морской Панорамы».



---

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### ВЕРНО ЛИ, ЧТО МЫ УМИРАЕМ?

#### § 1

В коридоре раздался голос м-сс Крум, кому-то открыли дверь, заговорили несколько голосов и кто-то повернул ручку двери в гостиную.

— А он, что ж, не приехал?—услышали они вопрос м-сс Крум, и в дверях показался д-р Элайю Баррак.

Это был молодой человек, круглоголовый, с гладко выбритым лицом; у него был определенно очерченный, слегка скошенный рот, короткий нос, и весь он имел решительный вид. То, что у него была искусственная нога, мало обращало на себя внимания. Он взглянул на четырех людей, сидевших в комнате, и, обратившись к м-ру Хассу, сказал строгим тоном:

— Почему вы не в постели?

— У меня тут серьезный разговор,—ответил м-р Хасс, указывая на своих собеседников и тем самым представляя их.

— Вам трудно сидеть; вы устанете,—настаивал доктор, продолжая интересоваться исключительно своим больным.

— Но не высказать все то, что я здесь говорил,—это для меня было бы тяжелее всякой усталости.



— На этот счет можно быть разного мнения,—неопределенно заметил м-р Фарр.

— Мы еще далеко не разрешили наши затруднения,—сказал сэр Элифас, обращаясь к миру вообще.

— Я, во всяком случае, изложил свой взгляд,—сказал м-р Хасс.—И теперь, когда приехал сэр Алфей...

— Он еще не приехал,—сказал д-р Баррак.—Он прислал телеграмму, что его задержали; он приедет следующим поездом. Так что у вас маленькая отсрочка, м-р Хасс.

— В таком случае я буду продолжать разговор.

— Вам лучше лечь в постель.

— Нет, я все равно не смогу лежать спокойно.—И м-р Хасс стал называть имена своих гостей д-ру Барраку, который отрывисто кивал каждому из них и говорил: «Рад познакомиться». Лицо его при этом не выражало большой радости. Взгляд у него был очень твердый. Он продолжал стоять, точно ждал, что присутствующие сейчас начнут обнаруживать какие-нибудь симптомы.

— Наш спор завел нас очень далеко,—сказал сэр Элифас.—Мы собрались здесь, чтобы решить вопрос о будущности Уолдингстантонской школы; по нашему мнению, ей следует придать более практичный характер и уделять больше внимания прикладным знаниям, и меньше—истории и философии, чем это было под управлением м-ра Хасса. (Не угодно ли вам стул, доктор?).—Доктор сел, продолжая глядеть на сэра Элифаса строгим умным взглядом.

— Так вот, мы очень далеко уклонились от этой темы,—сказал сэр Элифас.

— Не так далеко, как вам кажется,—возразил м-р Хасс.

— Во всяком случае, м-р Хасс угостил нас речью о злополучии жизни, о том, что нас поедают паразиты, что мы очень несчастны, и все существа в мире столь же не-



счастливы, что мы живем в проклятом мире, и Бог, который им управляет, или жесток или до того беспечен, что вообще не Бог.

— И такой возмутительный вздор говорится в тысячу девятьсот восемнадцатом году после Рождества Христова!—воскликнул м-р Дэд, особенно напирая на слова «после Рождества Христова».

— С тех пор как я уехал из Уолдингстантона и поселился здесь,—сказал м-р Хасс,—я только то и делал, что размышлял. Я не спал по ночам. Я ничем не занят днем, и все время я думаю об основных вопросах бытия. Я вынужден был подвергнуть критике свою веру, вдуматься ближе, чем когда-либо прежде, в смысл моих верований и в побуждения моих действий. Сила вещей отняла у меня обычную уверенность в благоустройстве мира, составляющую, казалось бы, наиболее естественное состояние человека. Но это только еще более обострило противоречие, которое и без того уже было между мною и этими тремя господами и достаточно ясно проявилось в те дни, когда моя власть в Уолдингстантоне еще оправдывалась успехом моих начинаний. Потом на меня внезапно посыпались несчастья за несчастьями без всякой причины, без всякого справедливого основания. Я повергнут теперь в самые тяжкие сомнения и отчаяние. Мир кажется мне суровым и мрачным, а прежде я верил, что в основе его лежит всецело пронизывающая его воля Бога, и что Бог этот — Бог Света... Даже, когда вера моя еще не была ничем омрачена, я всегда отрицал, что Бог справедливости управляет миром и в целом, и в каждой мелочи, присуждая нам ежедневно награды и наказания. Мои собеседники, напротив того, убеждены в этом. Они говорят, что Бог непосредственно управляет миром, совершенно явственно обнаруживая свою волю, и что успех в жизни служит доказательством и мерой его одобрения, а неудачи и страдания—



это кара за провинности. Имеет ли все это какое-нибудь отношение к делу воспитания? Да, конечно, имеет, и чрезвычайно большое. Нельзя решать никаких практических вопросов, не разрешив именно такие споры, как наш. Прежде чем готовить воспитанников к участию в жизни, нужно знать, что представляет из себя жизнь, к которой вы их готовите. Что она, трагедия или комедия? Каков характер драмы, в которой им предстоит участвовать?

Д-р Баррак показал жестом, что принимает к сведению высказанное положение и одобряет его.

— Очевидно ведь, — сказал м-р Хасс, — что, поскольку оправданием жизни служит успех, нужно воспитывать детей для достижения успеха. Если это так, то людям нет надобности понимать жизнь, достаточно делать каждому свое дело. Таково именно мнение этих попечителей моей школы. Так думало и большинство людей — всегда. Повинуйтесь тому, что есть! Вот что они хотели бы, чтобы я преподавал моим ученикам.

Жизнь для этих людей не переживание, не борьба, а только повиновение и радость быть награждаемым... Вот, д-р Баррак, каково по существу практическое воспитание, какое они хотели бы насадить в Уолдингстантоне...

— Я же всегда верил и всегда учил, что Бог требует от человека величайшего старания содействовать воле Божией и разуметь ее. Я воспитывал в детях прежде всего и более всего — воображение. В основу всего моего преподавания я положил знание, знание того, что представляет из себя человек, что такое мир человека, чем человек может быть и какова история приключений человечества в целом. Я преподавал в Уолдингстантоне философию, преподавал всю историю человечества. Если бы я не имел возможности преподавать все это, не исключив из про-



граммы химию и физику, математику и языки, я бы их, конечно, выкинул. И вы теперь понимаете почему, д-р Баррак.

— Я вас вполне понимаю,—сказал д-р Баррак.

— А теперь, когда небеса мои омрачились, когда у меня открылись глаза на горечь, ничтожность и ужас, вплетенные в ткань жизни, я все же верен, более чем когда-либо верен духу справедливости, живущему во мне. Если нет Бога, нет милосердия, нет человеческой доброты в огромных рамках пространства и времени, если жизнь—лишь пытка, лишь небольшая сыпь на одной маленькой планете, а звезды там, в пустоте—лишь огромные пустые вспышки света, ничего собою не означающие, то тем ярче светится пламя Господне в моем сердце. Если Бог моего сердца не сын отца, который в небесах, то он мятежный Прометей; веру мою не может поколебать то, что это он тот Властитель, для которого я готов жить и умереть. Напротив: если это пламя человеческих традиций, которое мы зажгли на нашей маленькой планете, окажется единственным проблеском духа на всем необозримом пространстве мертвой и пустой вселенной,—тем сильнее я буду верить в него.

Д-р Баррак, казалось, хотел что-то возразить, но потом, видимо, решил не прерывать его.

— Одиночество и ничтожество,—сказал м-р Хасс,—жестокосердие неба над нами и жестокосердие во всем, составляющем ткань мира... Если мир таков, то таким нам следует и воспринимать его. Каждый младенец на руках матери чувствует себя в безопасности и уверен в надежности мира; точно так же каждый ребенок дома чувствует себя укрытым. Много мужчин и женщин жили и умерли в этой счастливой иллюзии, что жизнь—безопасна. Но война сняла завесу иллюзии с глаз миллионов людей... Человечество достигло совершеннолетия. Мы,



наконец, видим, что жизнь представляет из себя и чего в ней нет. Мы кружимся на шаре из камня и стали; тонкий слой воды, несколько десятков миль воздуха лежат на нем, как пушок на сливе. Вокруг шара бездонное пространство; все солнца и звезды—лишь крупички материи, разбросанные среди совершенно пустого пространства. На этом тонком пушке, покрывающем частицу материи, мы осуждены жить; когда мы начинаем рыть вглубь, там сейчас же оказывается слишком жарко для нашего существования; если поднимаемся на пять миль ввысь, мы мерзнем, кровь вытекает у нас из сосудов в легкие, и мы умираем, задохнувшись, задушенные кровью...

В наслоениях ила и песков, образующих почву мира, мы нашли некоторые следы прошлого нашей расы и минувшей жизни. В наших лабораториях и обсерваториях мы обрели некоторые указания на грядущее. Мы имеем представление о начале истории, но первые страницы ее прочесть не можем. Мы раскрываем первые признаки жизни среди едва заметного колебания ила, которое происходило вдоль берегов теплых и мелких морей в краткие дни и ночи быстро вращавшейся земли. Мы проследили историю исчезновения жизни, после долгих веков ушедшей в глубь вод, мы проследили возникновение новой жизни, овладевшей воздухом и землей. Растения поползли по земле и стали подниматься стволами к солнцу; за ними последовали в небольшом количестве черви и раковидные, появились насекомые и, наконец, народились наши земноводные предки, вдыхавшие воздух посредством плавательного пузыря, служившего им в качестве легких. В самом начале своего появления на земле первобытные животные были не вполне приспособлены для своей новой жизни. Постепенно они вытеснили наследие рыбьего уха; оно заменилось барабанной перепонкой—из расщепленных жабр. Следы чешуи и плавников сохранились в костях и



конечностях. Наконец, эта зеленая накипь растительной жизни, вместе с животными, запутавшимися в ее сети, поползла в виде лесов на холмы; трава стала расстилаться по равнинам, и вслед за нею стали появляться на открытом воздухе большие животные. Что все это означает? Не более того, чем когда зарастают мохом старые черепицы. Земля непрерывно охладевала и день удлинялся. В течение долгих веков тепла и влажности произрастание неосмысленной жизни все увеличивалось, а потом пришли века холода и отступления назад, ледяные периоды и периоды вырождения целых видов и пород. Наконец явился человек, разрушитель, воитель. Он зажег огонь, сжигал леса, истощал почву. А какая у него надежда впереди? День все более и более удлиняется, и солнце истощает свою силу, отдавая свет своих лучей. Придет время, когда солнце будет мерцать на небе тусклым красным светом, и уже не будет сиять лучами, не будет восходить и заходить. Придет день, когда земля замерзнет и сделается неживой, как луна... Дух, обретающийся в наших сердцах, Бог человечества, вопирует «Нет!» Но есть ли во всей холодной и пустой вселенной вокруг нас какой-нибудь голос, который откликнулся бы на это «Нет»?

## § 2

— Ах, м-р Хасс, м-р Хасс!—сказал сэр Элифас.

Взор его точно искал, на чем остановиться, и, наконец, нашел нужную ему точку опоры в гравюре, изображавшей королеву Викторию и темнокожего царька, которому она жалуется из своих рук Библию.

— Вы расстроены болезнью, и потому видите все в таком свете,—сказал сэр Элифас.—То, что вы говорите, глубокая правда—и в то же время совершенно ложно. Возникшие таинственным образом, живя, как вы говорите, лишь как некое цветение, вызванное влажностью и дви-



жением воздуха на нашей маленькой планете,—как бы мы могли существовать, если бы нас всякую минуту не поддерживали милосердие и мудрость Господня? Чем более хрупка жизнь, тем выше чудо управляющего ею Провидения. Ни один воробышек,—продолжал сэр Элифас, а затем расширил свою метафору, и какой-то металл послышался в его голосе,—ни один волос с моей головы не спадет на землю помимо Его ведома и согласия... Я человек очень занятой. У меня нет времени столько читать, сколько бы мне хотелось. Но в то время как вы хулили творение Божие, я вспоминал некоторые чудеса...

Сэр Элифас поднял руку, сложив большой и указательный палец так, точно придерживал ими нечто изысканно прекрасное.

— Человеческий глаз...—сказал сэр Элифас, и так проникся восхищением, что слезы навернулись на его собственные глаза.

— Перекрестное оплодотворение растений...

Чудесные превращения высших пород насекомых...

Измутительно сделанная чешуя на крыльях чешуекрылых...

Милосердие Божие, умеряющее силу ветра ради стриженных овечек...

Таинственные чудеса эмбриологии; порядок, ритм и повиновение, с которым клеточки оплодотворенного яйца разделяются, чтобы построить совершенное тело живого существа,—и существа человеческого по образу и подобию Божию. Сначала имеется одна клеточка, потом образуются две; процесс деления необычайно прекрасен и называется, кажется, кариокинезис; за двумя клетками—следуют четыре, и каждая знает, что ей нужно делать; каждая делится точно и чудесно; восемь, шестнадцать, тридцать две... Каждая из тридцати двух клеток—это законченная тридцать вторая часть человека. И сей-



час же одна клетка говорит: «Я сделаюсь волосом»; другая: «Я—кровяным шариком», третья: «Я—клеточкой человеческого мозга, отражающего вселенную». Каждая клетка направляется на предназначенное ей собственное место...

Хорошо, если бы и мы так поступали! — прибавил сэр Элифас.

— А затем—вода,—продолжал он.—Я не обладаю глубокими познаниями по естественным наукам, но многие факты относительно воды преисполняют меня изумлением и восхищением. Все другие жидкости сжимаются, переходя в твердое состояние, за двумя-тремя исключениями, очень полезными в искусстве. Вода, напротив того, увеличивается в объеме. Вода—дурной проводник тепла, и если бы она, превращаясь в лед, сжималась и становилась тяжелее, то опустилась бы на дно полярных морей и не таяла там. И лед продолжал бы оседать на дне, весь океан сделался бы ледяным, и жизнь прекратилась бы. Но вода не сжимается... А затем, если бы вода не испарялась, если бы испарения ее не ловили и не задерживали в своей сети жар солнца, земля засохла бы от зноя днем и замерзла бы ночью. Все это—благодетельные Божьего милосердия. Я сам,—прибавил сэр Элифас тоном радостного признания,—я сам состою на девяносто процентов из воды... как и все мы...

Подумайте затем, как благостно зима умеряется для нас снегом. Когда вода замерзает зимой в воздухе, она не падает вниз в виде кусочков льда. А ведь это могло быть, и что бы тогда с нами случилось? Но кристаллы воды относятся к гексагональной системе, которая образует очень красивые узоры. Она кристаллизуется в нежнейшее, прелестное кружево из шестигранных кристаллов—изумительных под микроскопом. Они образуют нежные хлопья и свободно ложатся один на другой. Из льда соткано таким образом теплое одеяние, точно из шерсти,



белое как шерсть, потому что, как шерсть, оно пронизано воздухом—теплое одеяние для почек и ростков...

И вот, еще вы хулите Бога за паразитов, которые он насылает на мир. Но разве они посланы нам не в качестве великого урока морали? Каждый за себя и Бог за всех. Паразиты же живут совсем по иному. Они довольствуются жизнью, основанной на жалкой зависимости, и она ведет к физическому вырождению, очень быстрому и неминуемому. Они—социалисты природы. Они теряют части тела, обесцвечиваются, становятся полинялыми, противными существами, жалкими созданиями грязи и неряшливости, часто микроскопическими. Но разве примером своей постыдной жизни они не побуждают нас к самопомощи и труду? Таким образом и паразиты приносят пользу! Кроме того, сколько я слышал, без помощи паразитов-бактерий человек не мог бы переваривать пищу. Или вот мох: это сочетание водоросли и грибка, при чем грибок—паразит водоросли, а водоросль—грибка. Это то, что называется симбиозом—совместной жизнью для взаимного блага. Быть может, каждый из тех тысяч паразитов, которые кажутся вам такими ужасными, стремится всеми силами достигнуть какого-нибудь соглашения...—Сэр Элифас продолжал, тщательно взвесив свои слова:—какого-нибудь взаимно-выгодного соглашения со своим хозяином. Хочет быть гостем, уплачивающим за постой.

И наконец,—сказал сэр Элифас, и в голосе его раздавались раскаты далекого грома,—подумайте о величественном движении жизни на земле, о том, как она проходит через мириады форм, о поразительном crescendo эволюции, восходящей к вершине, к человеку. Какое изумительное создание человек! Высший образец всего созданного в мире, микрокосм космоса, последнее дитя времени... И вы хотите вселить в нас недоверие к тому, чья рука правит мирозданием!



Он закончил, сделав широкий жест.

М-р Дэд пробормотал что-то, —вроде того, как в церкви хор отвечает священнику.

### § 3

— Некоторая красота мироздания не есть знак Божия благоволения,—сказал м-р Хасс.—Все красивое уравнивается одинаковой мерой уродства. Бородавчатый вепрь и гиена, ленточная глиста и вонючка тоже создания Божии. Все, что вы говорили, указывает только на холодное равнодушие к нам в общем строе мироздания. Красота—явление случайное; она не есть данное, основное. Боль, страдание, счастье—тут не видно серьезного, внимательного отношения. Только в сердце человека горит огонь справедливости.

М-р Хасс остановился, помолчал, а потом продолжал возражать сэру Элифасу.

— Вы говорили о чуде перекрестного оплодотворения растений. Но разве вы не знаете, что половины этих любопытных и необычайно тонко разработанных применений и приспособлений уже нет? Их эволюция едва успела завершиться, как уже исчезла специальная потребность, породившая их. Половина цветов сложного строения—пусты, как развалины Пальмиры. Они принадлежат к числу самооплодотворяющихся или оплодотворяемых ветром. Преобразование высшей породы насекомых, которые порождают, смотря по времени года, наших комаров и ос, малярийных мошек и плодовых червей, достойно скорее нашего удивления, чем благодарности. Если есть какая-нибудь преднамеренность в этих странных и сложных явлениях, то, во всяком случае, это преднамеренность направленной по ложному пути бесчеловечной изобретательности. Чешуя чешуекрылых—тоже совершенно бесцельно



сверкает миллионы лет. Если блеск ее предназначен для взоров человека, то почему самые красивые виды летают лишь ночью в тропических лесах? Что касается глаза человеческого, то окулисты и оптики едва ли согласятся с вами. Вы прославляете особые свойства воды, благодаря которым жизнь возможна на земле. Да, жизнь возможна благодаря им. Но разве они способствуют тому, чтобы жизнь эта сделалась иной, чем она есть? Вы говорили о чудесах развития зародыша в яйце. Я согласен, что процесс развития поражает своей точностью. Но разве это разбивает мои сомнения? Напротив того, это еще более смущает меня: кажется, будто Бог, управляющий миром, движим не любовью, а иронией. Действительно, достойно изумления, как разделяются клетки и как пласты этих делений скользят вдоль своих осевых линий. Они разделяются не так, будто ими руководит божественная рука, а с беспощадным постоянством математического процесса. Они разделяются и строятся, сворачивая то в одну сторону, то в другую, чтобы создать то идиота, то калеку от рождения. Миллионы таких калек скапливаются и создают пьяницу, который шатается у дверей кабаков.

Вы говорите о поступательном движении эволюции, о первых зачатках жизни и о том, как план творения развивается и достигает своей вершины в нас, вот нас, собравшихся здесь и при каких обстоятельствах!—в вас и м-ре Дэде, в Фарре и во мне, которого ждет нож. Хотел бы я тоже считать, что тут эволюция идет *crescendo*! Но я вижу только, как все меняется, меняется и меняется, без плана, без любви. Обратите, например, внимание на перелеты птиц через Средиземное море и на трагическую нелепость этого перелета. Много веков тому назад и в течение долгих веков существовали непрерывающиеся сухопутные пространства, которые вели из Африки в Европу. Тогда и создался инстинкт у птиц; они перелетали над



землей с душного юга в страны северного лета, чтобы там вить гнезда и выводить птенцов. Медленно, век за веком, море заливало эти перешейки. Сотни тысяч лет прошли с тех пор, как они исчезли под водой, и все же слепой и беспощадный инстинкт продолжает гнать этих птиц над морем, постоянно разливающимся все шире—мириады птиц погибают в пути от изнеможения. Подумайте также о бесцельном влечении—оно соответствовало какой-то давно забытой потребности,—которое гонит на смерть стада полярных мышей. А затем, взгляните на человека, венец прославляемой вами эволюции! Подумайте, как он неуравновешен, подумайте о слабости его женщин, о нелепой несоразмерности его желаний. Подумайте ясно и непредубежденно о каменном периоде: где там следы предполагаемого вами поступательного хода эволюции? Были великие века изумительнейших древовидных папоротников и поразительных лесных топей, и все эти замечательные порождения растительной жизни умерли. Они достигли высшей точки развития и вымерли; их сменял какой-нибудь другой род растений. А затем вспомните про чудесную фауну срединного периода, вспомните времена левиафанов: териодонты, пресмыкающиеся, прыгающие динозавры, мосозавры и другие чудовища морских глубин, птеродактили с крыльями летучих мышей, плезиозавры и ихтиозавры. Вспомните про чудеса морей этого периода, про тысячи разнообразных аммонитов, про изобилие рыбных пород. Весь этот мир живых существ стерт смертью, как ребенок стирает мокрым пальцем рисунок, сделанный на аспидной доске. Они не оставили потомков, а только достигли огромного разнообразия и сложности в организации своей породы и прекратили свое существование. Заря эоценового периода была мрачной зарей опустошенного мира. Crescendo вначале, но потом diminuendo, pianissimo. А потом опять, исходя из новых неведомых очагов, далеко в глубине



стволов, стала набухать жизнь и снова вздувалась, а потом опять убывала. Мир, в котором мы живем теперь, это—жалкое зрелище сравнительно с изобилием ранней поры третьей формации, когда в джунглях, теперь таких притихших, рыскали тысячи пород бегемотов, деинотериев, титанотериев, гелладотериев, тигров с мечевидными зубами и сотни разновидностей слонов. Куда девалось такое *crescendo*? В течение тех долгих веков наши предки прятались среди листвы и карабкались на деревья, чтобы спрятаться от этого *crescendo*. Они—лейтмотив этого *crescendo*—были слышны очень плохо. А теперь мир сделался на короткое время нашим, и наступила наша очередь возрасти. Но чего ради? К чему это приведет? Вы, вот, считаете, что мир хорошо устроен, так скажите, к чему он приведет нас? Можем ли мы, в конце концов, избежать общей участи под темнеющим небом замерзшего мира?

Он устал говорить и остановился на мгновение.

— Нет отрады ни в цветах, ни в звездах,—продолжал он.—Нет уверенности в прошлом и никакой твердой надежды на будущее. Нет ничего, кроме Бога, веры и мужества в сердцах людей... Он не являет знаков власти, не сулит победу... Он не подает никаких знаков...

В ответ на это сэр Элифас тихо произнес прозвучавшее, как дуновение слово: «Бессмертие»!

— Позвольте мне сказать два слова о бессмертии,—сказал затем сэр Элифас, внезапно оживившись.—Это и есть, я полагаю, то, о чем мы забываем. Тут и заключается вся разница между нами и вами, м-р Хасс. Мы спокойно сидим на своих местах, довольствуясь тем, что выполняем свои скромные роли, так как твердо знаем, что будет день, когда смущающая нас теперь разорванность и непоследовательность выяснится и разрешится завершенностью цельных кругов. А для вас конец и заверше-



ние всего—в нашей земной жизни, и поэтому вы неминуемо становитесь мятежником и проповедуете нечто среднее между бунтом и отчаянием... Если бы действительно смерть была концом всего, то, конечно, вы могли бы считать, что правда на вашей стороне. Горести человека велики. Зачем бы я стал это отрицать?

Владелец патента и главный собственник плит из те-манита на минуту остановился.

— Да, — сказал он, вглядываясь сквозь косматые брови вверх в небо.—В этом все дело. Не видя этого, вы слепы ко всему.

— Не могу утверждать, что я на вашей стороне в этом вопросе о бессмертии, сэр Элифас,—предупредил д-р Баррак и отрывисто кашлянул.

— А я всецело с ним согласен,—сказал м-р Дэд.—Если не существует бессмертной жизни, то... Ну, да, то какой смысл было вести умеренную, благопристойную жизнь и ограничивать себя во всем в течение пятидесяти пяти лет?

Сэр Элифас решил отказаться от всякой защиты схем и целей природы.

— Земля—это место испытания, место тренировки,—сказал он.—*Respice finem*<sup>1)</sup>. Все разгадки по ту сторону.

— Но если вы действительно считаете, что наш мир место воспитания и созидания души, — возразил м-р Хасс,—то подумайте, что вы делаете, предлагая поручить заведывание Уолдингстантоном Фарру!

— Во всяком случае,—сухо сказал Фарр,—мы не хотим, чтобы в Уолдингстантоне омрачали души воспитанников и призывали их к отчаянию. Нужно, чтобы мальчиков учили бодро и предприимчиво работать и приносить пользу сначала в нашей низменной экономической

---

<sup>1)</sup> «Имей в виду конец».



сфере, а затем в сфере более высоких интересов, прежде чем они перейдут...

— Но если со смертью всему наступит конец, то стоит ли стараться?—сказал м-р Дэд, продолжая размышлять на ту же тему.—Если бы я думал, что...—и он добавил с глубокой убежденностью:—я бы дал себе во всем волю... И всякий бы тоже.

Он тяжело отдувался, засунул руки в карманы и уселся глубже в кресло. Вся его фигура выражала возмущение делового человека, которому предлагают отдать что-то—и ничего не получить взамен.

На мгновение все маленькое собрание смолкло, видимо представляя себе м-ра Дэда в обстановке кутежа, вина, женщин, расстегнутых жилетов, м-ра Дэда, который дал себе волю, ест, пьет, наслаждается, м-ра Дэда, которому море по колено,—и все это потому, что он должен умереть на следующий день...

— Бессмертие,—сказал м-р Хасс.—Вот уж не думал, что наш спор коснется этого вопроса... Вы бессмертны, Фарр?—неожиданно спросил он.

— Надеюсь,—ответил м-р Фарр,—хотя я этого и недостойн.

— Совершенно верно,—сказал м-р Хасс.—Так вот, что нас всех ждет. Вы и я, м-р Дэд из своей фабрики, сэр Элифас из своей конторы, все мы вознесемся на небо. Все там для нас приуготовлено, и вот почему нужно скрывать от моих воспитанников трагическое величие жизни... Но, даже если это так,—продолжал м-р Хасс,—то я не вижу, почему вы так стоите за прикладные знания и так враждебно настроены против истории человечества.

— Потому что история эта не верна,—ответил сэр Элифас, и волосы его стали развеиваться, как у человека, наэлектризованного новыми мыслями.—Потому что исто-



рия представляет собой пучек оборванных концов, которые на самом деле вовсе не концы, а начала нового, незапно переходящие в область невидимого. Я согласен, что в этом мире ничто логично не обосновано, ни в чем ясно не видна справедливость. Я принимаю все, что вы говорите. Но почему это так? В чем причина? В том, что наша жизнь лишь первая страница большой книги, которую нам предстоит прочесть. Мы тут подобны людям, ожидающим в приемной, м-р Хасс... Вся наша жизнь— это как бы ожидание где-то за дверями, в не очень чистом месте, пока нас не допустят к более возвышенным, реальностям, в более широкие сферы, где все жестокости, вся запутанность, вообще все окажется выясненным, оправданным, и справедливость будет восстановлена.

Он остановился, но заметив, что м-р Хасс собирается возразить, продолжал, слегка возвысив голос.

— Я говорю не голословно,— сказал он,— а могу сослаться на авторитетную книгу по этому вопросу. На меня и, более того, на лэди Борроус произвели очень большое впечатление два писателя, пользующиеся серьезной научной репутацией. Я говорю о д-ре Конан-Дойде и с-ре Оливере Лодже. После смерти своей младшей сестры—она умерла очень молодой—лэди Борроус особенно интересовалась этими вопросами. Это было для нее большим утешением. И оказывается,—сэр Оливер настаивает на этом в своей удивительной книге «Раймонд»,—оказывается, что продолжение нашей жизни в другом мире в настоящее время столь же доказано, как теория атомов в химии. Это вопрос не веры, а знания. В перегородке, отделяющей наш мир от загробного, наконец, пробита брешь. Мы вступили в сношения. До нас доходят оттуда сведения...—Сер Элифас откашлялся.—У нас имеются уже свидетельства и описания жизни, в которую



мы перейдем. Имейте в виду, что это не пустая болтовня, не шарлатанство Слэджа <sup>1)</sup> и ему подобных. Эти показания опубликованы знаменитым английским ученым, и великий французский философ, замечательный мыслитель—и ка кой мыслитель!—профессор Бергсон, стоял за то, чтобы их напечатать. Светило науки и великий философ совместно подкрепляют в нас доверие к этим показаниям. Мы, наконец, вступаем в грядущий мир по дороге фактов. Мы уже знаем довольно много. Мы знаем, например, что те, которые перешли в эту высшую сферу бытия, все же обладают телами. Это, по моему, приятное сознание. А то как-то не уютно без тела. Но, по имеющимся сведениям, внутренние органы имеют другое строение, что вполне естественно. Так и следовало ожидать. Питание, насколько я понял, фактически отсутствует. В нем нет надобности. Но так как внешние очертания остаются теми же, то пространство внутри, я полагаю, служит для других целей. Что-нибудь вроде астральных складов... У них никогда не идет кровь. Вот интересный факт: сестра лэди Борроус теперь фактически бескровна. И зубы ее—несколько зубов она потеряла, так как очень страдала от зубной боли—заменены новыми, великолепными. Они служат теперь только для членораздельной речи.

— Все это из «Раймонда»,—сказал доктор.

— А, значит вы читали эту книгу!—сказал сэр Элифас.

Доктор проворчал что-то, обозначавшее подтверждение и неодобрение. Выражение его лица выдавало в нем фанатика науки.

— Мы знаем теперь подробности перехода,—сказал сэр Элифас.—У нас есть некоторые данные. Мы

<sup>1)</sup> Известный спиритический медиум конца 19-го века.



знаем, например, что в случаях, когда люди погибают от взрывов, разрывающих их на куски, они не сразу, а лишь спустя несколько времени восстанавливаются в цельном виде. Есть соотношение между нашим бренным телом и телом духовным, сменяющим его. Там, на том свете, есть нечто вроде духовного врача, который приходит на помощь в таких случаях. И сгоревшие тела тоже причиняют много хлопот... Различие полов также сохраняется, но всякая грубость в отношениях между полами исчезает. Страсти остывают в том лучшем мире. Все страсти. Пропадает даже привычка к курению и влечение к спиртным напиткам. Но не сразу. Новопреставленные просят иногда дать им выкурить сигару. Им и дают сигары, сигары высшего плана жизни, и больше они уже не просят. Дети там не рождаются. Ничего подобного там нет; это очень важно понять. Место рождения людей здесь, на земле; тут жизнь начинается. Наша грубая маленькая планета—питомник жизни. Когда она выполнит свое назначение, заселит те высшие сферы, то пусть замерзает, как вы предсказываете. Она будет тогда пустой шелухой, ненужной оболочкой семени. Вот каковы мысли, утешающие, прекрасные мысли, подтверждаемые авторитетом наших высших научных и философских умов... Тот мир представляешь себе, конечно, в каких-нибудь иных размерах пространства, построенным п л а н а м и—конечно, метафизическими. В них люди движутся, живут в чем-то вроде домов, в своего рода прекрасной обстановке, составленной будто бы из з а п а х о в того, что существует на земле. Это очень любопытно, но не противоречит разуму. Наши любимые собачки тоже там будут, конечно, в преображенном, сублимированном виде. Эта мысль весьма утешала лэди Борроус... У нас была собака, которую звали Фиде, маленькое ворчливое создание—совсем человек...



Они там проводят много времени в разговорах. Какие у них другие занятия, по моему, трудно установить. Раймонд присутствовал на чем-то вроде раута—это было в самом высшем плане. Это была особая оказанная ему честь—может быть, этим хотели выразить уважение сэру Оливеру. Он увидел там истину евангельского откровения, так сказать, лицом к лицу. Это был изумительный момент. Сэр Оливер умалчивает о наиболее возвышенных подробностях. Лэди Борроус собирается написать ему; ей очень хотелось бы знать более точно. Но я не желаю распространяться на эту тему,—сказал сэр Элифас.—Я опускаю дальнейшие подробности.

— И вы верите в такие вещи?—спросил доктор с глубоким возмущением.

Сэр Элифас мягко повернулся к предложившему ему такой вопрос.

— Поскольку жалкий земной язык может передать то, что происходит в духе,—осторожно ответил он.

Он взглянул на своих коллег с самодовольно вызывающим видом. Но м-р Фарр и м-р Дэд имели несколько пристыженный вид, и у м-ра Дэда уши были совершенно красные.

М-р Дэд прочистил горло.

— Я уверен, что во всем этом кое-что есть... Во всяком случае...—сказал он глухим голосом, делая с своей стороны усилие поддержать сэра Элифаса.

— Если бы у меня была от рождения заячья губа, то что же—и это там тоже исправили бы?—спросил доктор.—И как насчет идиотов от рождения? Они тоже в сублимированном виде? А какова судьба пристреленных бешеных собак?

— На все такие вопросы,—возразил сэр Элифас с ясностью во взоре,—можно дать только один ответ: мы не знаем. Да и зачем нам знать?!



М-р Хасс погрузился в размышление. Его бледное осунувшееся и понурое лицо представляло резкий контраст с ощетиленно-рассерженным видом и гневным под'емом д-ра Элайю Баррака.

— Нет, сэр Элифас,—сказал м-р Хасс и вздохнул.

— Нет,—повторил он.

— Какой жалкий призрак мира создают эти люди! Какая насмешка над утратами и любовью! Сами матери и любящие, которые оплакивают своих мертвых, не поверят этим глупостям. Восстановление! Да, ведь, это худшее из всех издевательств! Слушая вас, я представляю себе только одно—труп моего дорогого мальчика, искалеченный и скрюченный, и сидящего над ним не то дурака, не то шарлатана, который втесался между этим трупом и мною и мелет вздор о каких-то планах бытия и астральных телах...

В конце концов, сэр Элифас, вы хотите убедить меня, что жизнь, при всей ее грубости, страданиях и ужасах, не так плоха, как кажется—если все, о чем вы говорите, правда. Но нет надобности даже вникать в эти показания, чтобы знать, что все это ложь. Ни один человек, находясь в здравом уме, ни на минуту не поверит в такой вздор. Этому невозможно верить...

Д-р Элайю Баррак громко выразил свое одобрение. Сэр Элифас сдержанно молчал.

— Это противоречит сущности всего, что мы знаем,—сказал м-р Хасс.—Это менее убедительно, чем самые дикие сны. Человек удостоверяется в реальности явлений, воспринимая их путем боли, желаний, мускульного напряжения, ощущения солнечного света или дождя на лице, посредством своего чувства справедливости и тому подобных существенных доказательств. Но то, о чем вы гово-



рите, ни в каком отношении не реально. Оно не дает ощущения реальности. У меня даже нет желания спорить с вами. Это все выдуманно для утешения страждущего мира, но и как утешение для людей, оглушенных горем и утративших всякую способность критики, оно не достигает цели. Может быть, вам и лэди Борроус приятно думать, что каким-то образом вам восстановят зубы и юношеский цвет лица и вы в таком виде воссоединитесь со своей верной собачкой Фиде. Но я, слава Богу, ясно понимаю, что такой встречи с моим сыном у меня не будет. Никогда! Он навсегда ушел от меня...

В течение нескольких мгновений душевные и физические страдания так овладели им, что он не мог говорить; но по его виду—лицо у него покрылось потом и судорожно сжалась рука—ясно было, что он хотел продолжать, и никто не прерывал его. Все ждали, пока он снова заговорит.

— А теперь я вам изложу совершенно определенно, что я думаю о бессмертии. К возможности познать его я ведь ближе всех из вас, здесь собравшихся. Так вот, бессмертие не есть, как вы представляете себе, возможность просто улизнуть из нашего странного мира, такого безнадежного, ужасного, такого непонятного—и где, иногда, чувствуешь себя таким одиноким. Возможно, что во вселенной есть Бог, возможно, что его нет... Бог, если он существует, может быть страшно молчалив... Но если Бог есть, то он последователен в своих действиях. Если есть Бог на небе и в мироздании, то не только вы и я и смерть моего сына, но и раздавленная лягушка, и растоптанный муравейник что-нибудь значат. На этом настаивает тот Бог, что в моем сердце. Нужно, чтобы был ответ не только на смерть моего сына, но и на смерть пингвина, которого жарят заживо, чтобы вытопить из него на грош жира. Должен быть ответ на то,



что люди приезжают на кораблях, чтобы проделывать такие вещи. Нужно оправдать грязь и ужас вшей и глистов. Нельзя пробраться в иной мир, болтая о планах живых и сублимированных атомов, в то время как на земле есть пьяные матери или люди умирают от холеры. Я и слышать не хочу про Бога, который представляет собою лишь средство уйти от того, что есть. Сколько бы ни было гнусности и зверства в мире, нужно, чтобы представление о Боге вязалось с этим. В противном случае нет Бога для всех, а есть только холод, безграничное, жестокое равнодушие... Я бы не мирился с таким Богом, если бы мог...

Я вам указываю на такие мрачные, зловещие факты—и что же вы мне возражаете? Что это все ничего, потому что после смерти мы от всего этого уйдем. Да знаете ли, если я теперь не встану из-под ножа хирурга и уйду из этого душного скучного мира, а затем меня починит какой-то духовный доктор в этом вашем потустороннем мире, и я проснусь для новой жизни, приятных разговоров и искусственных цветов, и у меня снова вырастут волосы и восстановятся выпавшие зубы, то у меня будет такое чувство, точно я предал своих близких или ушел из комнаты больного, чтобы отправиться на бал... И моя зараза проникнет туда вместе со мною. Я не буду говорить там ни о чем другом, кроме трагедии, которую оставил позади себя и которая по-прежнему остается трагедией. Но все же я верю в бессмертие!

Д-р Баррак, который до того слушал м-ра Хасса с явным одобрением, издал звук, выражавший удивление и протест, и посмотрел на него укоризненным взглядом. Но он все же не прервал его.

— Дело в том, однако,—продолжал м-р Хасс,—что бессмертен не я, а Бог во мне. Все то личное бессмертие,



о котором вы говорите, — это насмешка над индивидуальностью каждого из нас. Что именно из того, что в нас есть индивидуального, может пережить нас? Что делает нас самими собой? Все это очень мелкие подробности, маленькие различия, легкие недостатки. Но на чем держится личная привязанность? Именно на этих мелких подробностях... Как сильно и нежно я любил моего сына, и о чем больше всего тоскует теперь мое сердце? О его прекрасных качествах? Нет. О его честолюбивых мечтах, его успехах? Нет, ни о чем из всего этого... Я с тоской думаю о его румянце, как-то особенно вспыхивающем среди веснушек, о высокой слегка надтреснутой ноте, звучавшей в его юном голосе... о какой-то нелепой надежде на счастье—о чем он любил говорить... о звуке его шагов, о маленьком перебое в их ритме. Вот то, о чем мы помним и грустим, что нам разрывает сердце... Но ведь как раз все это—бренное, все это—недостатки, которые будут сглажены в том высшем плане жизни, о котором вы говорите. Вы хотите вернуть мне сына приглаженным, отшлифованным, подведенным под общую норму. Так оно и должно быть, если существует высший план. Но как же при этом сохранятся какие-нибудь индивидуальные отличия? Что останется от индивидуальной любви?

Когда у моего сына сгладятся все его недостатки, он будет похож на всех сыновей. Когда стариков разглядят, они будут похожи на молодых. В таких общих понятиях, как надежда, честь, справедливость и истина—нет ничего личного... Моего сына нет и не будет. Боль от того, что его нет, может быть, когда-нибудь пройдет... То, что в нас бессмертно, наименее индивидуально. Не вы и не я будем продолжать жить. Будет жить не умирая человек, Вселенский Человек. Он будет жить трагическим мятежником именно в этом мире и ни в каком другом...



М-р Хасс откинулся назад на стуле.

— В человеческих сердцах горит неугасимый огонь,— продолжал он.—Этим огнем я живу. Этим огнем я познаю Бога, в котором мое спасение. Его воля—истина. Его воля—служение. Он призывает меня бороться, без утешений, без наград. Он берет—и не воздает. Он пользуется нами и не вознаграждает за это. Он страдает, быть может, для того, чтобы восторжествовать, и мы должны страдать и возлагать надежды на то, что восторжествуем в нем. Он требует, чтобы я не закрывал глаза на скорбь, на неудачи, на то, что смущает мой дух. Пусть жизнь мучит и убивает меня, но я верю в Него. И если и Он должен умереть, я все же не властен поступать иначе. Я должен служить Ему...

Он замолк. В течение нескольких мгновений все молчали, захваченные глубиной его чувства.



## ГЛАВА ПЯТАЯ

### ЭЛАЙО УПРЕКАЕТ ИОВА

#### § 1

— Не знаю, какое это все производит впечатление на вас,—сказал м-р Фарр, внезапно обращаясь к д-ру Барраку.

— Что ж, это, во всяком случае, интересно,—сказал д-р Баррак, сложив на столе руки и опершись грудью на них.—Это интересно,—повторил он, тщательно взвешивая свои слова.—Не знаю, впрочем, насколько вам любопытно знать мое мнение на этот счет. Я привык говорить откровенно.

Сэр Элифас с изысканной учтивостью предложил ему высказаться.

— Тут было сказано, простите меня, много нелепого с обеих сторон.—Он обернулся к сэру Элифасу.—Вся эта спиритическая ерунда...—сказал он, потом остановился, сжал губы и покачал головой:—Она совершенно ни к чему. Я уделял в свое время некоторое внимание этому вопросу. Я занимался психологией, как приходится заниматься всякому врачу. На вас, сэр Элифас, конечно, не лежит никакой ответственности за тот вздор, который вы говорили о «сублимированных» домах и собаках с того света, состоящих из концентрированных запахов.



Сэра Элифаса всего передернуло.

— Однако!—воскликнул он.

— Пожалуйста, не обижайтесь, сэра Элифас. Если вы не хотите, я не буду говорить. Но если вы согласны меня выслушать, то я должен высказаться до конца. Повторяю, я не виню вас за то, что вы так говорили. Со всей этой медиумической дешевкой выступил сэра Оливер Лодж, изложив ее в большом, пухлом, внушительного вида томе, предназначенном для утешения людей, помутившихся от горя... Многие из них всеми силами старались отнестись к этой книге серьезно. На все это жалко было смотреть... Я уверен, что автор говорит совершенно искренно в соответствии со своим разумением, но каково это разумение! Упрямая доверчивость, выдающая себя за свободомыслие. Он принимает на веру притворство и уловки медиумов, выслушивает их объяснения, печатает вздор, который они болтают, переделывая его так, чтобы он поражал читателя. Посмотрите, какова у него способность критической оценки! Только потому, что многие медиумы довольно приличные люди и что они или совершенно не нуждаются денег своими откровениями, или же, самое большее, довольствуются скромным заработком, получая обыкновенно одну гинею за сеанс,—сэра Оливер настаивает на добросовестности их показаний. В этом его основная ошибка. Каждый врач сказал бы ему, как и я сказал бы после первого года практики, что говорить правду—последний и самый высокий триумф для человеческой мысли. Почти ни один из моих пациентов никогда не говорит правды. И не только потому, что у них нет десятой доли нужной для этого критической способности и беспристрастия; но у них нет действительного желания сказать правду. Им нужно произвести впечатление. Люди все еще проникнуты художественными влечениями и еще совершенно чужды научности. Они или преуменьшают



или преувеличивают. Мы все таковы. Если бы я увидел на улице, что кошка попала под лошадь, а потом рассказал бы вам об этом, то наверное как-нибудь приправил бы свой рассказ, вложил бы в него больше драматизма, совсем раздавил бы кошку, экипаж у меня был бы огромный и т. д. Мне нужно было бы чем-нибудь оправдать тот факт, что я счел нужным рассказать вам об этом. Посадите женщину вот тут на стул, скажите ей, чтобы она закрыла глаза—и тогда она почувствует, что с нею происходит нечто странное. Она фактически это почувствует. Скажите ей, чтобы она произносила вслух слова и фразы, которые у нее рождаются в голове, и она станет их произносить. Внушите ей полупонамеком, что все это идет из восточной Азии, и тот вздор, который она начнет говорить, будет соответствовать ее представлению об английском жаргоне в восточных странах. Это не значит, что она сознательно обманывает вас. Она просто хочет идти навстречу вашим ожиданиям. Вы сосредоточиваете на ней свое внимание, а всякому человеку приятно, чтобы на него обращали внимание, поскольку внимание это не враждебно. Она будет всеми силами стараться, чтобы ваш интерес не охладевал. Она будет инстинктивно стремиться к этому. Большинству медиумов только тогда и удастся приковывать к себе внимание хотя бы небольшого кружка публики, когда они находят способы заинтересовать собой... Как же ожидать от них правдивости?

Д-р Баррак откашлялся.

— Но все это не касается занимающего нас вопроса,— сказал он.— Не думайте, что, отметая весь этот спиритический вздор, я тем самым провозглашаю, что современная наука—есть конечная истина. Вся наука в мире вместе взятая—лишь маленькая слабенькая струйка знания. Я вполне допускаю, что есть силы,—я почти готов утвер-



ждать, что всюду во вселенной даже должны быть такие силы,—о которых мы пока не имеем представления. Возьмите электричество. Что люди знали об электричестве во времена Джильберта? <sup>1)</sup> Ровно ничего. В начале каменного века люди едва ли даже замечали, что есть воздух. Я совершенно согласен, что в природе есть еще чрезвычайно много неведомого. Быть может, оно совсем близко, у нас прямо под носом, а мы и не знаем. Но это ничуть не подтверждает того, что говорил сэр Элифас. Все неведомое, когда его открывают, присоединяется к тому, что мы знаем. То, что откроется с течением времени, быть может, осложнит или, быть может, упростит наши понятия, но не пойдет в разрез с общими представлениями. Все это войдет в общую систему и не спасет вас от неопровержимых доводов, приведенных м-ром Хассом. Таким образом, поскольку дело касается вашего бессмертия, сэр Элифас, я, как видите, всецело на стороне м-ра Хасса. Все это фантазия, сон. Как фантазия—это вроде того, как ночью иногда кажется, что скрипит пол, а как сон—в этом мало привлекательного, как уже сказал м-р Хасс.

Но по отношению к м-ру Хассу и его бессмертию я становлюсь на вашу сторону, господа. Это тоже сон. Менее чем сон: просто игра словами. Тут и неугасимый огонь, и дух Божий в человеке. Он говорит, что дух этот в нем, в вас, сэр Элифас, в вас, м-р Дэд, так, кажется? Дух Божий и вот в том господине, имя которого я не совсем расслышал, и во мне тоже. Странно, однако, что никто из нас об этом не знает, кроме м-ра Хасса. Не знаю, что вы на этот счет полагаете, но я лично не согласен, чтобы меня считали без моего ведома частью Бога

---

<sup>1)</sup> Знаменитый английский физик и придворный врач королевы Елисаветы; известен своими работами по изучению законов магнетизма; жил от 1540 до 1603 г.



совместно с м-ром Хассом. Я предпочитаю оставаться собой. Может быть, это эгоизм, но я эгоист по природе. И я—агностик...

Вы втянули меня в разговор, и уж дайте мне договорить все до конца. Что такое агностик? Это человек, который вполне признает ограниченность человеческого понимания, который берет мир таким, каков он есть, так же как и самого себя, и отказывается идти дальше этого. Возможно, что есть другие миры и экстаз других измерений. Возможно, например, что есть четвертое измерение, и, если хотите, пятое измерение, и шестое, и сколько угодно еще измерений. Они меня не касаются. Я живу в этом мире и в трех измерениях, и все эти другие миры и измерения—представляют для меня столь же мало интереса, как глубина морей для клопа, живущего под обоями. Возможно, что бывают клопы под обоями, у которых есть нечто вроде обоснованного сознания, что где-то существует глубокое, глубокое море, и даже некоторая вера, что когда, наконец, их хватят персидским порошком, то они направятся именно туда. Но я—если позволите продолжить это сравнение—я просто живу под обоями.

Я повторяю, что я агностик. Я смотрел на мир открытыми глазами с тех самых пор, как вошел в него тридцать лет тому назад. И я не только никогда не видел, не слышал, не касался призрака или духа, сэр Элифас, но никогда не видел проблеска или признака этого Провидения, этого великого Бога вашей вселенной—также как и другого, меньшего и современного Бога, которого отстаивает м-р Хасс. В человеческих сердцах я находил новообразования, склероз, сгустки крови и ожирения; но никогда не находил Бога. Простите меня, что я так откровенно говорю с вами, господа. Но вот этот господин, имени которого я не слышал...

— Фарр.



— М-р Фарр сам виноват. Это он втянул меня в разговор, а я интересуюсь такими вопросами. Для меня совершенно ясно, что раз мы существуем, то в этом есть какой-то смысл. Но я убежден, что у меня нет даже тех нервных узлов, которые необходимы, чтобы начать что-нибудь понимать. Я отклоняю и бессмысленные догадки спиритов и верующих в Провидение—к сожалению, я должен отнести вас к их числу, сэр Элифас—и метафоры м-ра Хасс. Факты...

Д-р Баррак остановился на минуту:

— Я верю только фактам,—сказал он затем.

— Факты очень важны,—подтвердил м-р Дэд. Ему нравилась резкая прямота доктора.

— Что я вижу вокруг себя?—спросил д-р Баррак.— Борьбу за существование. Относительно нее я предлагаю ясный и простой вопрос: зачем искать ее первопричины? Она и есть первопричина. Она меня создала. Я ее изучаю и наблюдаю. Она меня швырнула в жизнь. Я стараюсь по мере сил отклонить ее удары. Она отвоевала у меня ногу. Голова у меня расшиблена в кровь, но я не склонял ее. Я умножаю свой род—как можно больше, поскольку это допускают обстоятельства—и по мере возможности накладываю свой отпечаток на мир. Если я прав, если я делаю то, что следует, и более или менее удачлив, то продержусь до тех пор, пока мои ослабевающие инстинкты не расположат меня к покою. Мое потомство и влияние, которое я имел в жизни, будут знаками моей правоты... А что еще есть другое? Называйте эту борьбу как хотите, даже Богом. Но Бог для меня—антропоморфическая идея. Называйте это иначе—жизненный Процесс.

— Почему не эволюция?—оказал м-р Хасс.

— Я предпочитаю—Процесс. Эволюция предполагает некую моральную оценку. Это дешевое слово. Эволюция сводится к простому автоматическому развитию. Процесс



более сложное понятие; оно вмещает под'емы и падений, как это понимает м-р Хасс. Это скорее воля, чем автоматизм. Воля, которая нащупывает почву вокруг себя. Не безразличная по отношению к нам, как предполагает м-р Хасс: мы орудие, посредством которого она проявляется. Но и не подчиненная нам, как нас хочет убедить сэр Элифас, не играющая роль Провидения ради нашего счастья и благополучия. Некоторые из нас становятся молотами, некоторые наковальней, некоторые искрами, а кое-кто той самой поковкой, которая выживает. Процесс не полагается на нас. Да как и полагаться? Мы изучаем процесс насколько это возможно и, как говорится, извлекаем из него практическую пользу, ибо этого требует элемент воли в Процессе.

М-р Дэд, встрепенувшись от слова «практическую пользу», издал одобрительный звук. Впрочем, не очень уверенно одобрительный—скорее в виде займа, чем в виде презента.

— И вот тут, как мне кажется, м-р Хасс совершенно неправ,—продолжал д-р Баррак.—Он не подчиняется этим реальным фактам. Он воздвигает нечто, называемое им Духом в человеке или Богом в его сердце,—чтобы затем судить это. Он считает возможным чинить суд над вселенной на основании мерил человеческого разума в его теперешней стадии развития. Тут я совершенно расхожусь с ним. Это вовсе не навсегда установленные мерилы. Человек все время развивается и видоизменяется. Некоторые явления оскорбляют чувство справедливости в м-ре Хассе, но это его чувство нельзя считать непоколебимым критерием справедливости; человеческое чувство справедливости сработалось из совершенно иного понятия и в дальнейшем своем развитии тоже приведет к чему-то совершенно иному. Как и все другое в нас, оно создано Процессом, и Процесс его видоизменит. М-р Хасс говорит, что многое



в мире некрасиво. И это он тоже ставит в укор мирозданию. Но ничто так не меняется, как понимание красоты. Группа молодых художников может начать новое движение в искусстве, кубизм, вортицизм—и как там они еще называются; это преобразит ваше чувство красоты. Если признание того или другого рода красоты помогает устоять в жизненной борьбе, то рано или поздно, поверьте, красота эта будет признана таковой. И гиены, вероятно, любят друг дружкой—во всяком случае, в пору любви... То же самое происходит с понятиями милосердия и всего другого. У всякого существа свои, разные, мерила. После человека придет за-человек, и, быть может, ему милосердие будет казаться безумием, а то, что терзает наш слабый дух, будет доставлять ему наслаждение. Мы должны повиноваться процессу сообразно с нашим временем и нашим положением в нем. Таков мой взгляд. Такова непосредственная правда мира, если смотреть на нее прямо и твердо.

Губы м-ра Дэда шептали беззвучно: «прямо и твердо». Но он все же не чувствовал себя на твердой почве.

В течение нескольких мгновений доктор сидел, облокотившись на стол, и казалось, что он кончил. Но вскоре он снова заговорил.

— Весь этот разговор, насколько я понимаю,—сказал он,—возник из спора о воспитании.

— Прямо не верится,—заметил м-р Дэд.

Но следующее же замечание д-ра Баррака остановило возраставшее одобрение м-ра Дэда.

— Мне это кажется вполне логичным,—сказал доктор.—Это то, что мне всегда казалось непонятным в учителях, политических деятелях и других людях такого рода: как это они считают возможным воспитывать людей, оставляя в стороне религию, социализм и все прочие ваши верования? Что значит воспитывать? Это значит учить



молодежь говорить, читать, писать и считать—с тем, чтобы потом объяснить им, какое у них место в жизни и как мы понимаем наше собственное назначение и назначение мира, и к чему мы их готовим в жизненной игре. Так как же все это выяснить и в то же время избегать говорить об этом? В чем заключается игра? Вот что хочет знать каждый юноша. Воспитание и заключается в том, чтобы ответить ему. Или мы ему скажем прямо и ясно, в чем смысл жизни по нашему мнению, или же мы только будем представляться, что воспитываем юношество, а на самом деле ничего подобного не будем делать. И в таком случае глупые вырастут с полным хаосом в понятиях и будут плыть по течению, веря в старые предрассудки, умные же будут считать, что жизнь—пустое надувательство. Большинство образованных людей у нас думают, что вся жизнь притворство и надувательство. Они барахтаются и никогда не считаются с действительностью... Изумительно, как люди утрачивают свой контакт с действительностью, как большинство людей окончательно его утратили. Нужно видеть, как мои пациенты приходят ко мне и лгут мне даже относительно своих желудочных болей. Мысль о том, что все имеет простые разумные основания, им уже и не приходит в голову. Они полагают, что могут обмануть меня относительно фактов и что когда я буду окончательно одурачен, то каким-то шарлатанским образом надую их желудок и прекращу боли...

А мое евангелие одно: смотрите прямо в лицо фактам. Берите жизнь такой, какова она есть, и себя берите такими, какими вы являетесь в действительности. И главным образом нужно помнить, что Процесс совершенно не принимает во внимание наших желаний или опасений, или нравственных идей, или чего-нибудь в этом роде. Он выдвигает нас, испытывает наши силы и, если мы не выдерживаем пробы, сшибает нас с ног и приканчивает нас.



Может быть, это несправедливо, если это измерять маленькими человеческими масштабами, но сообразно истине атомов и звезд, так оно и должно быть. В чем же, в таком случае, должно заключаться истинное воспитание?

Д-р Баррак остановился.

— Объясните своим ученикам, что такое мир, ознакомьте их со всеми правилами и тонкостями игры, выработанными человечеством, и говорите им, чтобы они были сами собой. Нужно быть самими собою с головы до пят. Нет смысла быть чем-либо, что не составляет сущность вас самих, потому что...—д-р Баррак продолжал таким тоном, точно приводит дословно священное изречение:

— Нет наследственных черт характера. Внутренняя сущность человека, основа всего им унаследованного подлежат испытанию. Вкладывайте всего себя в Процесс. Если вы нужны Процессу, он примет вас; если не нужны, вы погибнете. Этого нельзя изменить ни в ту, ни в другую сторону. Вы тут совершенно бессильны. Будьте сами собой.

Д-р Баррак сидел, откинувшись на спинку стула. При последних словах он возвысил голос и поднял руку, точно собираясь ударить ею по столу. Но так велика была профессиональная выдержка, что он медленно опустил руку, вспомнив, что м-р Хасс его пациент.

## § 2

М-р Хасс ничего не возражал в течение нескольких мгновений. Он так глубоко задумался, что, казалось, не заметил, как доктор перестал говорить.

Потом только он вздрогнул и очнулся, заметив наступившее молчание.

— Между вами всеми не такая рознь, как вам кажется,—сказал он, наконец.—Ваши рассуждения на-



правлены все к одному выводу, как ни различны точки отправления каждого из вас. Вы доказываете, что люди могут жить совершенно отделенные друг от друга...

— И,—продолжал он размышлять,—покоряться...

— И не покоряться,—прибавил д-р Баррак в виде подстрочного замечания.

— Вы говорите, сэр Элифас, что наш мир находится под опекой Провидения, премудрого и благостного, что оно ведет мир к целям, которых мы не понимаем; и эти цели показались бы нам желанными, если бы мы только знали их, но они—непонятны; что жизнь и вселенная, какова она есть, лишь исходный пункт развивающегося ряда бессмертных жизней. И отсюда вы заключаете, что в таком мировом строе человеку следует быть доверчивым ребенком и только не надоедать верховным силам, только выполнять свои немногие, простые и подобающие ему обязанности, и затем о нем будут заботиться, вознаграждать его и вести вперед.

— Простая вера имеет многое за себя,—сказал сэр Элифас,—как бы вы ее ни презирали.

— Ваш взгляд более мрачный, д-р Баррак; вы говорите, что мировой процесс совершенно недоступен пониманию и воздействию на него. Мы бессильны изменить или смягчить его. Мы становимся для него или сосудами избранными, или сосудами скудельными. Процесс разбросал человечество по черной пустоте пространства и возможно, что опять сотрет нас с лица земли. Таково свойство судьбы. Мы же можем следовать только нашему пониманию и нашим инстинктам... Но ваши заключения, ваши практические выводы согласны с учением сэра Элифаса. Вы преклоняетесь пред тем, что есть.

Он это делает охотно и с доверием—с некоторой старомодной учтивостью, а вы угрюмо—в современном стиле...



М-р Хасс замолчал и сидел несколько мгновений сжав губы, точно прислушиваясь к боли внутри. Затем он сказал:

— А я не подчиняюсь. Не подчиняюсь. Я восстаю— не собственной силой и не по собственному побуждению. Я восстаю духом Бога во мне. Я восстаю не только для того, чтобы ограничиться жалкими протестующими жестами против мрачного неустройства и жестокостей времени и пространства, я хочу быть хозяином мира. Я восстаю из гордыни—я горд Богом в моем сердце. Я слуга мятежного и отважного Бога; он еще, быть может, внесет порядок в жестокий и страшный хаос, в котором мы носимся как листья, гонимые ветром. Вопреки всем видимостям, Бог этот, быть может, еще будет управлять миром и подчинит его своей воле.

— Что это будет за мир!— сказал шопотом м-р Фарр, не будучи в силах сдерживаться и все же несколько стыдясь своего насмешливого тона.

— А мир, который теперь существует, Фарр? Какой это коварный, подстерегающий человека мир! Разве он служит на пользу даже в а м? Он сделался таким ненадежным, что всякий случай, за который вы ухватываетесь, может вдруг обернуться самым ужасным образом против вас...

Мое отношение к миру совершенно противоположно вашему. Дух моей жизни и моего учения,—моего учения, при всех его слабостях и ошибках,—является борьбой против Темной Силы мира, которая стремится раздавить всех нас... она реет надо мною и теперь, в то время, как я говорю с вами... Это борьба против беспорядка в мире, отказ от покорности, на которую вы идете, полный отказ от добровольной смерти в жизни...

Он провел языком по губам и продолжал:

— Цель и сущность всякого истинного воспитания— учить мужчин и женщин борьбе во имя Бога, знакомить их



с тем, как начиналась жизнь на нашей одинокой маленькой планете среди бесконечных звезд и как развивались эти начатки жизни; знакомить их с тем, как, в течение долгих веков, возникал среди зверей человек, и с тем, какого рода борьбу Бог ведет через человека—объединять людей для того, чтобы они вышли из самих себя и влились в общую жизнь, присоединили свои усилия к борьбе Бога. Характер борьбы, которую ведет Бог, составляет сущность нашего спора. Это борьба с надеждой на успех, но без уверенности в победе. Вы доказывали, сэр Элифас, что борьба эта не настоящая, не нужная, что на деле все прекрасно устроено для нашего конечного блага. А когда я напомнил вам о некоторых разоблаченных ужасах в окружающем нас мире, вы стали доказывать, что все это возместится в ином—совершенно невероятном мире.

Сэр Элифас издал мягкий звук протеста, но махнул своей длинной рукой, когда м-р Хасс остановился и поглядел на него.

— Продолжайте,—сказал он.—Продолжайте!

— А теперь я обращаюсь к вам, д-р Баррак, и к вашему современному фатализму. Вы считаете, что вселенная не подлежит воздействию на нее—ни в коем случае. И что понять ее нельзя. К добру ли или к худу для нас, но выше себя самих в нашем высшем напряжении—мы не можем подняться. Нужно, говорите вы, быть с а м и м с о б о ю. А я возражаю на это, что нужно забыть себя в чем-то бесконечно большем—в Боге... Есть странное сходство, доктор, и вместе с тем странное различие между вашими взглядами и моими. Мне кажется, что ваше представление о мире в значительной степени сходится с моим, но вы взираете на мир холодно, как смотрит на него человек до рассвета, а я...—он остановился.

— Я вижу свет над миром,—сказал он, понизив голос.—Я вижу свет... свет...



Он замолк. На минуту казалось, точно свет, о котором он говорил, исчез из поля его зрения, и точно его об'яла тень. Когда он снова заговорил, в звуке его голоса заметно было явное напряжение.

Он повернулся к д-ру Барраку.

— Вы думаете,—сказал он,—что в этом вашем процессе есть воля, которая поведет мир куда-то вперед, к чему-то определенно большому и лучшему. А я считаю, что воля есть только в нас и через нас. Если вообще есть какая-нибудь воля... Я считаю, что даже ваше правило «будьте сами собою»—это парадокс, ибо мы не можем быть собою, пока не потеряем себя в Боге. С той минуты, как вы вошли сюда, я говорил с сэром Элифасом и с вами, о бесконечном неустройстве и зле в природе. А теперь я хочу указать вам на беспредельные несчастья, вызываемые разрозненностью людей; несчастья эти будут длиться веками, до тех пор, пока люди или соединятся в духе и правде, или погибнут по собственной вине—из-за собственной бестолковости. Погибнут ли люди или будут спасены, я не знаю. Было время, когда я был уверен, что Бог восторжествует в нас... Но мрачные тени пали на мой дух...

Посмотрите, в каком положении теперь люди, потому что они не начали еще открыто и глубоко понимать действительность, потому что, по их словам, они берут жизнь таковой, как она есть, потому что они то, что они есть, и не принимают во внимание историю, не понимают, что в действительности они только части общего единого переживания в пространстве и времени. Вот уже четыре года, как жизнь становится все более и более трагичной. Существование, казавшееся прежде таким устойчивым, делается все более необеспеченным и грозным... Шесть миллионов солдат, шесть миллионов молодых людей убиты только на полях сражений; в три раза больше искалечено и столько же погибло из тех,



которые не были взяты в солдаты. И это только начало катастроф, обрушившихся на род человеческий. Все сношения между людьми испортились; дороги, мореходство, посевы уничтожены, и за быстрой кровавой трагедией войны следует теперь изможденный страшный призрак мирового голода, а за голодом его неминуемый спутник — мор. Вы, господа, принимали такое деятельное участие в военных поставках, и дни вашего усердного труда и столь плодотворно использованной энергии окрашивают для вас мимолетным блеском весь этот мрачный ужас. Вы поэтому считаете, что не хватает веры, если я думаю, что ничто не может искупить гибель и разрушения последних четырех лет и еще большие разрушения и бездушный хаос, и нищету, и болезни, ожидающие нас впереди. Вы скажете мне, что мир познал, благодаря войне, то, в чем не уверился бы никаким другим способом, что теперь мы создадим мировую Лигу Наций и положим конец войнам. Но на какой основе вы постройте вашу мировую Лигу Наций? Что удалось воздвигнуть за эти четыре года, что у вас есть, кроме развалин? Осталась ли в умах у людей хоть одна объединяющая их общая мысль, какое-нибудь общее отношение к чему-нибудь? Они попрежнему принимают мир таким, каков он есть, попрежнему совершенно верны себе, а за кучкой людей, которые гонятся за прибылями, все более нарастает волчья толпа тех, которые добиваются куска хлеба. В человеческих умах не осталось общих идей, на которых можно что-либо строить. А что может объединить людей, кроме общих идей? Школы ничего не дали миру. К чему сводятся общие идеи в мире? К громким выкрикам низменной прессы, к пустым фразам политиков. Снова надвигается хаос на весь европейский восток, а Западная Европа вся распадается в куски и приходит в смятение. Искусство, наука, мышление, творчество — все это совершенно прекратилось.



в России, может быть, на целые века. В Германии все это тоже вымирает; университеты на западе бескровны, всю молодежь из них вытянули. Война, которая казалась вначале зарей лучшего века, утрачивает всякое значение сравнительно с этой надвигающейся великой катастрофой. Французы, британцы и американцы отгоняют теперь немцев от Парижа. Смогут ли они отогнать их далеко? Не ослабеет ли эта контр-атака и не закончится ли она неудачей, как прежние? Но которая бы сторона ни пала первой в изнеможении, это едва ли изменит самое роковое. А самое роковое—это факт изнеможения, духовного и физического, это неумение постигнуть и охватить действительность и даже отказ от попыток постигнуть ее и, вообще, ослабление всякого рода усилий...

— Какая польза от такого отчаяния?—спросил м-р Дэд.

— Я не прихожу в отчаяние. Нет. Но зачем лгать о надеждах и успехах—среди неудачи и надвигающихся несчастий? Какой смысл утверждать, что человечество одерживает победы—механически—над духом зла, когда человечество совершенно наглядно проигрывает очко за очком, и явно падает духом? Зачем утверждать, что есть какой-то порядок и благоволение в мире или что происходит некий изумительный и непостижимый процесс в этом гноящемся разложении, в этом запустении и бессмыслии? Нет никакого смысла, нет нигде ничего творческого, кроме неугасимого огня, кроме духа Божия в сердцах людей... Быть может, и он угаснет... быть может, угаснет... мне кажется, что он угасает.

### § 3

Он остановился. Д-р Баррак откашлялся.

— Не считайте меня упрямым,—сказал он.—Я уважаю глубину чувств. Нельзя не уважать глубокое чувство...



Но клянусь моей жизнью, я не понимаю смысла слов: дух Божий в сердцах людей. Не в моих привычках приставать к пациентам, но это все так интересно, и мы говорим при совершенно исключительных условиях. Я бы хотел, м-р Хасс, чтобы вы мне сказали откровенно, есть ли в этом что-нибудь большее, чем просто фраза.

Ответа на это не последовало.

— Слова,—сказал м-р Дэд,—только слова. Если бы м-р Хасс стоял хоть какие-нибудь три месяца во главе большого инженерного предприятия во время войны...

— У меня скептический ум,—продолжал д-р Баррак, поглядев на м-ра Дэда, чтобы выждать, не собирается ли он закончить свою фразу,—я требую осязательных фактов, которыми мог бы оперировать. Я агностик по природе, а также по умственным и профессиональным привычкам, Фома неверующий по рождению и воспитанию. В м-ре Хассе тоже много агностицизма. Даже больше. Он в большем сомневается, чем я. Он сомневается в существовании какого-либо плана или цели в мироздании. То, что я называю Процессом, он считает опустошением. Он видит в мироздании лишь хаос, все еще ожидающий творца. Но всему этому он противопоставляет этот свой неугасимый огонь, дух Божий, и утверждает, что огонь этот зажжен в нем и ждет возможности зажечься в нас, представляя собой какого-то мятежного кандидата в творцы. Да...

Доктор нахмурился и продолжал, обдумывая свои слова.

— Укажите мне на практические результаты этого самого огня. Я признаю некоторую поэтичность самой идеи, но я человек простой и практичный. Мне нужен какой-нибудь знак, по которому я мог бы распознать этот огонь и вновь увидеть его везде, где он окажется. Я не спрашиваю, почему он неугасимый.



Я не придираюсь к словам. Но что означает этот неугасимый огонь в современном мире и нашей повседневной жизни? Каким-то образом он связан с преподаванием истории в школах.—Доктор с легким оттенком насмешки взглянул в лицо сидевшего по правую руку от него.

— Мне это не кажется таким странным, как м-ру Фарр,—продолжал он.—Это меня интересует. Тут есть логичное основание. Но м-р Хасс не показал еще некоторых промежуточных звеньев и не выяснил еще некоторых существенных пунктов. Этот неугасимый огонь есть нечто пламенеющее в сердце м-ра Хасса, и—насколько я понимаю по некоторым его общим замечаниям—он полагает, что такой же огонь должен гореть во мне и в вас, господа. Это нечто, благодаря чему мы забываем о наших мелких личных несогласиях, забываем о самих себе и спланиваем все в стройный ряд—против чего? Вот мой первый вопрос: против чего? Я не понимаю силы и значения такого сплочения во едино. Мне кажется, что мы боремся друг против друга в силу естественной потребности и необходимости, что мы совершенствуем друг друга в этой борьбе, оттачиваем силы друг друга. Я думаю, что борьба за существование ведет к совершенствованию жизни. Может быть, то лучшее, что она создает, не кажется таковым по нашим теперешним понятиям, но оно, несомненно, лучшее, если приложить к нему масштаб мирового Процесса. Иногда жернова Процесса мелют как будто с нестерпимой свирепостью и беспощадностью; но это опять вопрос масштаба. М-р Хасс не верит в необходимость борьбы. Он хочет воспитывать людей так, чтобы они не желали вступать в борьбу друг с другом, а жили и работали в согласии. Во имя чего? Вот мой второй вопрос: во имя чего? В моей теории непрерывной борьбы, непрерывно ведущей к улучшению существования, есть логический смысл; борьба, во всяком случае, дает



направление в жизни и куда-то нас ведет. Но никакой логической обоснованности нет в утверждении, что мы все еще боремся, боремся больше чем когда-либо, а в результате стараемся остановить борьбу, которая ведет жизнь вперед; хотим остановить ее—если это возможно. А в этом и состоит парадокс м-ра Хасса. Когда не будет соперничества внутри страны и не будет войны за ее пределы, когда кошка и мышка придут к полному взаимному пониманию, когда дух Божий, живущий, по мысли м-ра Хасса, в сердце человеческого, будет также властителем джунглей и морей, куда же устремимся мы тогда? Времена будут развертываться дальше. Но человек останавливается. Если каждый в отдельности откажется от соревнования, то он тем самым остановится в своем развитии. М-р Хасс смотрит на меня так, точно я несправедлив к нему. Но в таком случае, пусть он ответит на мои вопросы. П р о т и в чего ведет нас Бог, живущий в сердце человеческого, и в о и м я чего мы будем жить?

#### § 4

— Прежде всего я скажу вам, против чего борется дух Божий,—сказал м-р Хасс.

— Я не буду спорить против того, что этот ваш Процесс дал много хорошего; он создал и все хорошее в человеке, и все дурное. Он создал и то, и другое без разбора. Он вложил в нас—в некоторых из нас—тяготение к случайно порожденному добру и стремление отделить его от случайно рожденного зла. Дух Божий возникает из этого вашего Процесса так, точно он часть его... Он составляет исключение, а помимо него добро и зло неотделимо смешаны; добро растворяется во зле, и зло во многих случаях целиком или частью искупается хорошими результатами. «Добро» и «зло»—понятия, существующие только в нашем



представлении. Процесс по существу своему безразличен; он создает, разрушает, благоприятствует, терзает. Сам по себе он ничего не сохраняет и ничего не продолжает. Ему просто все равно. Но для нас он создает возможности. Жизнь и есть такая возможность, такой шанс. И если мы теперь не ухватимся за жизнь и за самый Процесс, пока мы в нем находимся, Процесс станет снова неприступным и в скором времени совершенно сметет нас. В глубине души, доктор, вы верите в счастливый конец всего—совершенно так же, как сэр Элифас. Я смотрю глубже потому, что я не ослеплен здоровьем. Вы полагаете, что за человеком последует какой-то изумительный сверх-человек. Это иллюзия, порождаемая здоровьем. За человеком не будет ничего, поскольку человек не пожелает сам, чтобы что-нибудь было. Нас сметут так же равнодушно, как мы были созданы, и тогда наступит что-нибудь другое, столь же несвязанное ни с чем и бесцельное, что-нибудь совершенно необязательно лучшее или непременно худшее, а просто другое, и оно тоже будет сметено, в свою очередь. Так оно будет, если только дух Божий, который живет в нас, не поднимет нас на то, чтобы овладеть мирозданием; для него и для нас Процесс этот—просто хаос; человек являет собою возможность, преходящую возможность внести в него порядок.

Люди пишут и говорят о теперешней великой войне, разрушающей землю, так, будто это нечто глубоко драматичное и вытекающее из логических причин. Они говорят о ней, как о великом очищении, о великом уроке, об историческом периоде, означающем конец войн и разделений. Это все возможно, но действительно ли оно так и будут ли последствия именно таковы? Я обращал ваше внимание на факты животной жизни, жизни вообще, как мы ее знаем, и предлагал вам вдуматься в них. Мне кажется, что я несколько склонил вас к моему взгляду на беспочвен-



ность нашего предположения, что счастье присуще природе вещей. Несчастливым животным и всем живым созданиям приходится много страдать. А теперь вдумайтесь: столь же непосредственно во все, что люди делали и пережили во время войны. Они, конечно, проявили необычайную плодовитость и ум в изобретениях, которыми пользовались для военных целей, а также изумительное самопожертвование и мужество; но столь же ясно, мне кажется, что все страдания и муки, пережитые за это время, мало чему или почти ничему не научили людей, и все их ухищрения пошли на их же погибель. Единственный урок и единственное улучшение, которого можно ожидать от войны—это чтобы люди, воодушевленные мужеством свыше, сказали: этому и всему подобному нужно положить конец... Но как-то не видно, чтобы они это говорили. С другой стороны, очень видно, что большое количество человеческой энергии и способностей посвящалось и все еще посвящается многому, ведущему к опустошению и уничтожению.

Самое ужасное в войне, это даже не глупость и не жестокость ее, а пронизывающая ее извращенность. Противопоставьте скудоумию, которое привело к войне, полной неспособности благих жизненных сил остановить и прекратить войну, противопоставьте всему этому то количество ума и самоотверженного усердия, которые пошли на изобретение ядовитых газов. Подумайте, сколько здесь остроумия и изобретательности, сколько различного рода заряженных газами снарядов, какие великолепные ухищрения задерживают выход яда—чтобы захватить людей врасплох, захватить их в тот момент, когда они сняли свои противогазовые маски. Один способ, который теперь в большом ходу у немцев, требует применения двух сортов газа. У них имеется один газ, не смертоносный, но такой тонкий, что он проникает сквозь



маску и вызывает тошноту. Солдата охватывает страх, что начнется рвота, что он запутается в маске и задохнется; в неудержимом порыве панического ужаса он срывает с себя маску, свою единственную защиту, и тогда начинается действие второго газа, более плотного и смертельного. Солдат вдыхает его полной грудью. У него захватывает дух, он понимает, что он сделал, но уже поздно; смерть хватается его за горло, и начинаются страшные боли и пытка... Человек кашляет, шатается, извивается, упав на землю; у него смертельная тошнота. Он умирает, задыхаясь, с выпученными глазами... Так теперь убивают людей; это только один из множества способов, отвратительных, недостойных и чудовищных, но очень умных, в техническом смысле поразительных... Вы не можете отрицать, доктор Баррак, что эта искусно придуманная смесь двух газов—один из последних плодов вашего Процесса. Вот куда, наконец, привел людей ваш Процесс—от стадной и пещерной жизни неолитической эпохи.

А теперь скажите мне, как обеспечивается такими изысканными плодами Процесса поступательное движение человечества куда-то, к какой-то цели? Умственная энергия, промышленная энергия идут без остатка на то, чтобы был возможен этот ужас; множество отважных молодых людей искалечены или убиты. Где же во всем этом естественный отбор? Неужели люди, или жизнь, или мироздание могут куда-нибудь придти при таких условиях?

Зачем люди делают такие вещи?

Это делается не из определенного и организованного влечения ко злу. Если взять ряд изысканий и изобретений, которые, в конце концов, привели к употреблению ядовитого газа, то окажется, что это результаты труда множества в большинстве случаев милых, довольно добродетельных и благонамеренных людей. Каждый из них вносил свою лепту, как сказал бы м-р Дэд; каждый, говоря



вашими словами, доктор, был сам им собой и пользовался вложенными в него способностями в соответствии с характером окружающей жизни; каждый из них, сэр Элифас, скромно брал жизнь такой, какова она есть. Они жили в мире неоформленном, лишенном общего разумения и объединенного плана для всех, в мире, не знающем свою подлинную историю и не имеющем никакого представления о своем будущем. К этому ужасу они пришли потому, что у них не было мирового воспитания. Эти ужасы не послужат никому уроком, не вызовут к жизни ничьей действенной воли, и все по той же причине. Каждый живет—в неведении, занятый только обстоятельством своей личной жизни, живет изо дня в день, чем Бог послал, подхватывает нынче одну мысль, завтра—другую. Я вам укажу и на другой пример того, как человеческие способности и энергия, предоставленные самим себе, внутренне не согласованные, без общей почвы в своих стремлениях, без Бога, непременно попадают в тупик сплошных ужасов. Подумайте о том, что такое подводные лодки и что они означают. Мы, в Англии, видим в них только оружие убийства, но считаем, что они великолепно устроены и уж, во всяком случае, не представляют ничего мучительного или тем более губительного для тех, кто ими управляет. Я не буду повторять рассказы, которыми у нас полны все газеты—рассказы о людях, утопающих в ночи, о том, как расстреливают шлюпки, нагруженные пассажирами и командой с пароходов, о том, как люди вынуждены взбираться из волн на потопившую их подводную лодку и как у них отнимают спасательные пояса, чтобы они непременно утонули, когда лодка погрузится в воду. Я хочу сосредоточить ваше внимание на самой подводной лодке. Существует какое-то сумасшедшее представление, что убийство,—как оно ни жестоко само по себе,—можно оправдать в тех случаях, когда убийцы спасают свою



жизнь. Так, например, у нас оправдывали истребление туземцев Тасмании, которых пристреливали, как только они показывались на глаза, или убивали посредством отравленного мяса, которое оставляли везде на дорогах. Но самое удивительное в этих подводных лодках то, что они подвергают пытке и убивают свой же собственный экипаж. Это—своего рода чудо близорукой изобретательности, оно ведет к общему бессмысленному и бесполезному истреблению—как самих германцев, так и их врагов. Это концентрированный пример хитроумной бессмыслицы и ужасов, к которым приводит человечество разброд идей, дух воинственности и соревнования.

Возьмите какого-нибудь бедного немецкого юношу средних умственных способностей, с нормально добрыми чувствами и обладающего некоторой отвагой, и представьте себе, что он делается матросом подводного флота. Подумайте о нем и о том, что мы с ним делаем. Он—хороший пример того, что мы делаем вообще с людьми. В детстве он понятлив, восприимчив к учению, пластичен. Вместе с тем он эгоистичен, жаден и подозрителен. Его легко направлять и легко испугать. Он любит работу, когда она у него ладится. Он способен питать чувства привязанности, как и чувство злобы. Он—лист белой бумаги, на которой можно написать что угодно. Его учат родители, учат товарищи, школа. Но учат ли они его великой истории человечества? Говорят ли ему о его кровном родстве со всеми людьми? Говорят ли ему об открытиях, изысканиях, о человеческих усилиях и достижениях? Нет. Ему говорят, что он принадлежит к светловолосой, необычайной расе, единственной имеющей значение на земном шаре (Никакой такой отдельной расы никогда не существовало; это ложь, посланная в виде проклятия человечеству). Учителя его будят в нем недоверие, ненависть и презрение ко всем другим народностям. Они наполняют



его душу страхами и враждой. Они говорят ему, что все немецкое хорошо и поразительно, а все не немецкое—и опасно и зловредно. Жалкого гаера императора из Потсдама—они так возвеличивают и окружают таким ореолом, что он в воображении мальчика светится как звезда...

Мальчик вырастает нравственным калекой; его способность к преданности и самопожертвованию отливают в форму фанатической преданности кайзеру и ненависти ко всему иностранному. Наступает война, и юноша рвется отдать себя на самое нужное дело. Ему говорят, что подводная война—верное средство нанести решительный удар врагам его родины. Служить на подводной лодке—значит находиться на самом острие копья. Он едва смеет надеяться, что его примут на эту столь важную службу, подобающую принцам. Но счастье улыбается ему; его принимают. Он готовится к службе на подводной лодке.

Не знаю, господа, помните ли вы хорошо свою юность. Школьные учителя, быть может, лучше помнят годы отрочества, потому что школьная обстановка постоянно напоминает им их собственное прошлое. Юность ведь пора прекрасных чувств, безграничных честолюбивых мечтаний, только что проснувшегося, острого чутья красоты. Наш юноша поэтому мнит себя героем, сражающимся за своего полубога—кайзера, за дорогую Германию, против холодных и злых варваров, которые сопротивляются и хотят гибели Германии. Он проходит курс обучения, спускается в первый раз в подводную лодку, карабкается вниз по узкому трапу. Немного холодно, но все изумительно: дивный механизм. Очевидно, такое гнездо изобретений, хитроумных приспособлений, прекрасных металлических частей, изумительного мастерства—служит правому делу. Душа юноши переполнена грезами о подбитых гордых судах неприятеля, о том, как они перекувырнутся в воду, как он



в это время будет с суровой гордостью созерцать дело своих рук, сдержанно наслаждаясь сознанием, что он отмстил за Германию.

Вот какую воспитали в нем душу. И так воспитывали и воспитывают души мальчиков во всем мире... Все это потому, что в мире нет никакого общего плана, потому что каждый из тех, которые воспитывали этого мальчика, так же как всякий из тех, кто способствовал постройке подводных лодок, был «самим собой» и «вносил свою лепту», следовал своим собственным побуждениям и интересам, не думая о целом, не задумываясь ни о каком плане и целесообразности дел человеческих, не зная ничего о духе Божием, который один только об'единил бы нас и обратил бы все наши способности и всю энергию на общую пользу.

Но я продолжаю историю нашего юноши...

Наступает день, когда у него открываются глаза на то, что такое он собственно творит для своих ближних. Он стоит у одного из орудий подводной лодки во время нападения на какое-нибудь несчастное океанское судно. Он вдруг понимает, что война, которую он ведет, отнюдь не героическая борьба против гордого и властного врага, а только уничтожение мореходства.

Он видит, как взрывают маленькое судно, видит гибель экипажа, раненых и убитых—и видит, что все это не тираны, властители морей, а такие же моряки, как он сам; он видит: суда их разбиты вдребезги. В большинстве случаев это происходит ранним утром или в час заката, при ровном свете, озаряющем целый мир черных линий и черных силуэтов, параллельных медленному вздыманию и опусканию холодно сверкающих вод. И он, с трудом веря своим глазам, убеждается, что эти маленькие черточки и точки, которые барахтаются и исчезают среди обломков судна, это—головы людей, его братьев...



Для сотен тысяч людей, которые пошли на войну, ожидая ярких, романтических и величественных впечатлений, первое их участие в убийстве было наверно угнетающим разочарованием. И, конечно, особенно—для экипажа подводных лодок... Всякое чувство правоты и красоты, которое увлекает людей в бой, которое вообще поддерживает большинство из нас на путях жизни, наверно окончательно исчезает при первом же столкновении с действительностью. Наш юноша стал, несомненно, спрашивать себя: Что я делаю?

Он лежал по ночам и не мог заснуть, и вопрос этот вызывал в нем страшные сомнения...

Мы в Англии слишком ругаем матросов германского подводного флота. Большинство из нас вынуждены были бы на их месте проделывать то же, что они. То, что они делают, подготовлялось шаг за шагом, совершенно логично, неизбежно, потому что люди удовлетворялись в своих действиях ложными предпосылками и случайными представлениями о национальности, расе, о мировом строе. И все это потому, что преподавание прикладных наук шло в ущерб историческому и социальному воспитанию. Раз люди отошли от идеи единого человечества или даже не восприняли эту идею, которая составляет сущность подлинной истории и подлинного учения о Боге, то они неминуемо должны были докатиться до таких организованных гнусностей. У нас в Англии люди, столь же бессвязно мыслящие, вполне способны попасть в какой-нибудь тупик в этом же роде: что ж—они не прочь подвергнуть пыткам команду подводной лодки—очевидно, чтобы доказать этим превосходство своего нравственного уровня.

Но экипаж подводной лодки и без того подвергается пыткам...

Послушайте дальше про моего юношу с подводной лодки. Я старался показать вам терзания его совести;



когда лодка пускает ко дну судно и топит людей. Но это происходит сравнительно редко. Большую часть времени подводная лодка прячется под водой, спасаясь от преследований. На поверхности кишат неприятельские суда; гидропланы и дозорные воздушные шары высматривают лодку, и стоит ей подняться хотя бы только ближе к поверхности, как ее может заметить гидроплан и тогда ей грозит гибель. И даже когда она погружена в мутные воды Северного моря ниже уровня, на котором ее могут увидеть, то шум ее моторов может выдать ее присутствие особому слуховому аппарату, а удачная догадка, за которой следует залп в глубину, часто означает конец ее карьеры. Подумайте же теперь о повседневной жизни нашего юноши при этих условиях. Я хочу, чтобы вы поняли, куда этого юношу завели ложные понятия—не его собственные, а господствующие в окружающем его мире.

Способы выслеживания подводных лодок посредством слуховых аппаратов совершенствуются с каждым днем, и в настоящее время миноносцы идут следом за подводной лодкой по шестидесяти-семидесяти часов, выслеживая ее по шуму, как собака вынюхивает след добычи. В конце концов, если лодка не может уйти от своих преследователей, ей приходится подняться на поверхность и принять бой или сдаться. Это самая странная игра в жмурки, какую только можно себе представить. Подводная лодка наклоняется и поворачивается, тоже вслушиваясь в звуки, идущие сверху от преследователей. Что они, ближе? Или звуки слабеют, и они отошли? Если не подвернется спасательная мель, где подводная лодка может притаиться на время в тишине, то она вынуждена быть все время в движении, расходуя электрическую энергию, и, в конце концов, должна выплыть на поверхность, чтобы вновь зарядить аккумуляторы. Насколько возможно, экипаж подводной лодки держат в неведении, пока идет эта охота. Они только



случайно догадываются об опасности по тревоге или раздражению командира, по торопливости и быстрой смене его приказов. Что-то происходит—что, они в точности не знают,—что-то, что может закончиться большой неприятностью. Если преследователь решается на залп в глубину вод, то уж по сотрясению они наверно чувствуют, что рука смерти нащупывает их во мраке...

Страх перед залпом в глубину наверно непрерывно мучит воображение экипажа подводных лодок. Каждую минуту, без всякого предостережения, может раздаться удар, и сотрясение возвещает находящимся в лодке, что разрушительные силы напали на их след. Хрупкое судно прыгает и дрожит сверху до низу. Людей бросает во все стороны. Это переживает и наш юноша. Он проклинает чортовых англичан. И если хорошенько подумать, то кого другого ему проклинать? Стоит им подойти еще немного ближе и заклепки сдадут; тогда начнется течь, впуская давление нескольких атмосфер. Еще немножко, и вода будет пробиваться сквозь трещины и бреши во множестве мест, воздух сожмется в его легких, начнется долгая агония подводной лодки, и после нескольких часов безнадежных страданий он задохнется и потонет, как крыса в залитом водок подвале...

Подумайте об этой жизни среди бесконечных страхов в проклятом пространстве под водой. Воздух там почти всегда спертый, иногда отравленный. В такой маленькой посудине, переполненной людьми и загроможденной машинами, возможны всяческие несчастные случаи, которые сопровождаются распространением удушливых газов и зловония. Тонкая струя хлорного запаха, например, предупреждает экипаж о том, что вода залила аккумуляторы. Как только слышится запах хлора, подводная лодка должна подняться на поверхность, как бы это ни было рискованно... И затем в лодке всегда и всюду сырость. Наружные



части машин и вся мебель всегда мокрые. Только около самых моторов держится некоторая выделяемая ими теплота, а все остальное пространство полно сырости и холода. Видели вы толщину китового жира? Только посредством такого огромного слоя жира, плохо проводящего тепло, кит, живя в воде, сохраняет теплоту в теле. Подводная лодка не имеет возможности защитить себя слоем непроницаемого жира, и температура в ней такая же, как в подводном мраке. И эту жизнь среди холода, страха, духоты, головной боли и тошноты нельзя поддержать горячей сытной пищей. В распоряжении повара на подводной лодке не имеется жаркой плиты, как на военных судах.

Подводные лодки очень подвержены качке. Лодка, конечно, не тяжелее и не легче воды, в которой она плавает, и когда она случайно касается дна в мелких водах, то подскакивает как резиновый мяч на мостовой, матросов внутри кидает во все стороны, и они стучаются о машины.

Такова повседневная жизнь в подводной лодке, когда она под водой. А теперь подумайте, какие манипуляции связаны с тем, чтобы выплыть на поверхность. Лодка поднимается до такого уровня, чтобы перископ мог осмотреть небо и ближайшую часть моря. Ничего не видно? Слава Богу. Лодка выплывает, и часть матросов может вдохнуть свежий воздух. Часть только, а не все, потому что для того, чтобы все могли подышать, нет ни времени, ни места. Но счастливы, которые попадают ближе к люкам, могут даже насладиться солнечным светом. Выплыть на поверхность моря в тихую погоду, вдали от всяких судов,—это тайная мечта каждого матроса, плавающего на подводных лодках. Но теперь представьте себе, что на горизонте что-то виднеется. Тогда лодка должна выплыть с величайшей осторожностью и осмотреть добычу. С виду это, скажем,



невинное судно, пассажирский пароход, тралер, грузовик. Но разве этому невинному виду можно довериться? Откуда командиру подводной лодки знать, что на судне нет орудий? Мало ли какое новое ухищрение охотника скрывается за невинной с виду маской? Пока судно не пущено ко дну, экипаж подводной лодки не может знать, не был ли там подготовлен для них какой-нибудь отвратительнейший сюрприз. Приближаясь к судну, они никак не могут знать, не подкрадывается ли контр-атака с невидимой другой стороны. В результате—эти люди трепещут перед каждым судном, которое им встречается.

Удивительно ли после этого, что они действуют стремительно и истерично, проклинают и оскорбляют несчастных, которых собираются потопить, стреляют в них без предупреждения и творят столько гнусностей? Командир подводной лодки—это не выложенный капитан у себя на рубке. Он живет среди крайнего физического напряжения и постоянного страха, подвергается страшному риску, и все это для того, чтобы свершить бесславнейшее преступление. Он уже на земле попал в ад.

Немцы стараются всеми средствами поддерживать дух экипажа в подводных лодках. Один английский капитан, который провел две недели в плену на такой лодке и был недавно выпущен через Швейцарию, рассказывал, что когда им удавалось потопить коммерческое судно, они «играли победные марши на граммофоне». Вы представляете себе мрачность такого празднества!

Неминуемый конец матроса, плавающего на подводной лодке, если он на свое счастье не попадет в плен,—смерть, и к тому же страшная, медленная смерть. Рано или поздно она должна наступить. Некоторые не возвращаются из первого же рейса. Если возвращаются, то их отпускают на короткую побывку на берег, и потом опять отправляют в плавание.



Из второго рейса они или возвращаются, или не возвращаются. Некоторые, быть может, были в море и по двадцати раз, но, в конце концов, они все же попадают. Средний срок жизни для подводной лодки—менее пяти рейсов. Из экипажей первых подводных лодок, которые начали подводную войну, лишь очень немногих людей уцелело до настоящего времени. Когда наш юноша, окрыленный мечтами, покинул свой родной дом в Германии, он шел на верную смерть. Он мало-по-малу начинает понимать свою участь из разговоров товарищей. Так мало людей теперь идут на это гнусное дело, что раз в Германии кто-нибудь попался на службу в подводном флоте, то его уж не выпускают, пока не используют до конца.

А этот конец?..

Мне рассказывали подробности о гибели одной подводной лодки—со слов двух пленных, которые умерли недавно в Гарвиче. В эту лодку попала мина, пробившая в ней дыру в корме. Лодка настолько пострадала, что не могла уже всплыть и стала тонуть. Непосредственное последствие пробоины в подводной лодке заключается, конечно, в том, что давление воздуха внутри оказывается на одинаковом уровне с давлением воды снаружи. На каждые десять ярдов глубины это прибавляет четырнадцать фунтов на квадратный дюйм. Уши и кровеносные сосуды внезапно подвергаются страшному давлению. Начинается ужасная боль в ушах, и огромная тяжесть давит на грудь. Приходится затыкать ватой уши и ноздри, чтобы не лопнула барабанная перепонка. Кроме того, лодка уже не стоит ровно на киле. Матросы стоят и скользят вдоль предметов. Они карабкаются вверх по полу, спасаясь от медленно поднимающейся воды. Вода, ведь, не прорывается потоком в лодку, быстро заливая людей. Она не может быстро влиться, потому что нет выхода для воздуха, и



вползает незаметно, воровски—по мере того, как подводная лодка уходит все больше в глубину.

В этом процессе медленного гибельного погружения на дно—есть намеренная жестокость какого-нибудь рассказа Эдгара По. Это иногда длится часами. Наступает время, когда потухают огни, и поднимающаяся вода заливает аппарат для накачивания кислорода и поглощения углерода. Начинается удушье. Подумайте о том, что должно происходить в умах обреченных людей, столпившихся среди машин. В том случае, который описывали пленные, несколько человек бросились в поднимающуюся воду внутри лодки. В другом случае, когда лодку вытащили, она была полна трупов: все погрузили головы в воду внутри лодки. Говорят, что у экипажа подводных лодок имеется яд, у каждого, на случай таких несчастий. Но это неверно. Яд слишком большой соблазн...

Когда становится очевидным, что лодке никак не выплыть на поверхность воды, то, обыкновенно, делают попытки спастись через люки. Люки можно открыть, когда, наконец, давление внутри становится равным давлению воды снаружи. Вода тогда вливается потоком, и лодка идет ко дну, как камень, но те, которые ближе всего к люкам, имеют шанс спастись, выплыв вместе с поднимающейся сверху струей воздуха. Идет, конечно, отчаянная борьба за то, чтобы стать ближе к люку. Это и произошло на той лодке, с которой взяты были пленные. Открыли передний люк. Наше дозорное судно, которое шло в это время по морю, заметило воду, выбрасываемую вверх вырвавшимся воздухом, и вслед за этим появились головы людей, барахтавшихся на поверхности воды. Большинство их кричали от боли. Все они пошли ко дну, прежде чем их удалось подобрать; спасли только двоих, и они умерли дня два спустя. Вследствие внезапного перехода в обычную атмосферу из сжатого воздуха тонувшей



подводной лодки, у них лопнула ткань легких и их задушила кровь.

Представьте себе этих несчастных людей, когда они умирали в госпитале. Они обессилели от припадков кашля и потери крови, но у них наверно были перед концом минуты передышки. Наш юноша лежал тогда, смотрел на унылые стены своей палаты, размышлял и спрашивал себя: «Что я делал? Что я совершил? Что мне дал мир? Он сделал меня убийцей. Он измучил меня и отнял у меня жизнь... А я готов был служить ему»...

Думал ли он о том, как строилась подводная лодка, о бесчисленных ухищрениях и выкладках, о терпении и усердии, загубленных на то, чтобы создать страшную западню, в которую он, наконец, попался,—этого я, конечно, не знаю... Это он, вероятно, принимал как должное...

Так умер наш немецкий юноша, который предавался мечтам, ледеял честолюбивые замыслы, хотел служить своей родине, быть храбрым и свершать подвиги чести... Так в подводных лодках, затонувших в глубинах тесных морей, умерло по меньшей мере пять тысяч человек, среди них и некоторое число англичан вместе с немцами.

Это рассказ, в котором все—правда. Он более поражает воображение, чем судьба большинства мужчин и женщин на свете, но так ли он уж по существу отличен от общей участи всех? Разве вся жизнь нашего времени не в духе этой истории? Разве эта повесть молодости, надежды и возможностей сбитых с пути, введенных шаг за шагом в ложно понимаемый мир, направленных на зло, низведенных до уродства, обреченных на смерть,—разве все это не отражает лишь в более ярком виде обычную судьбу огромного большинства? Разве все мы, каждый в отдельности, не находимся в некотором роде на борту подводной лодки, творя зло и обреченные на конечную гибель?...



Каковы дела, которыми занимаются люди? Многие ли из них подобны нагруженным суднам, служащим благу человечества? Подумайте о лжи и спекуляции, о захватах и подвохах, о привилегиях специалистов в ущерб простым людям, о спокойном пользовании несправедливыми преимуществами. Кто из нас может сказать: все, что я делаю, приносит пользу? Наше выжидание и наши усилия—многим ли это лучше долгих блужданий лодки под водой? А когда мы выплываем, чтобы бороться за самих себя, подводя мины под соперников, побивая противников, то что мы тогда представляем собою? Матросы на подводных лодках видят перед собой в полусвете утопающих людей—и я вижу перед собою каждый день мир, утопающий в бедности и невежестве, мир, плавающий в морях голода, болезней и горя. Нам дан досуг, свобода и разум; что же мы сделали, чтобы предотвратить бедствия?

Поверьте мне: весь мир—подводная лодка, и каждый из нас—подобен матросу из экипажа подводных лодок. Глупцы, которые визжат в газетах, требуя жестоких мер против командиров и матросов подводных лодок, не отдают себе отчета в своей собственной роли в жизни... Мы могли бы жить на солнце, свободными, в полной безопасности, а мы живем в тесноте и холоде, среди тяжких опасностей—потому что мы воюем с нашими братьями.

Вот вам, доктор, ответ на первую часть вашего вопроса. Вы спрашивали, против чего восстает дух Божий в человеке? Он побуждает нас воевать против спутанности мыслей, против невежества, которое заводит жизнь в страшный тупик... Бог, живущий в наших сердцах, взывает к нам, чтобы вывести нас из закоулков себялюбия, темноты, жестокости и страдания; оставаясь в них, человечество обречено на смерть. Он зовет нас на большую дорогу, где мы обретем спасение, он призывает человечество к организованному единению.



Усталость, которая была заметна сначала в голосе м-ра Хасса, теперь совершенно исчезла. Он говорил с большим подъемом; глаза его блестели, и на щеках показался румянец. Он говорил попрежнему тихим голосом, но совершенно плавно и уже не прерывая речи мучительными паузами.

— Но ваш вопрос обоюдоострый,—продолжал он.— Вы спросили меня не только о том, против чего ополчается дух Божий в нашем сердце, но и за что он борется. Куда ведет большая дорога? Я говорил вам, что, по моему, человеческая жизнь сплошная масса развращающих душу трагических переживаний. А теперь я постараюсь сказать вам, если мне не помешает боль в боку, чем жизнь на земле могла бы стать, если бы ею руководил наш Вождь, дух Божий.

Я исхожу из того, что люди все еще будут такими, каковы они теперь, что весь мир будет индивидуально такой же. Я не буду предполагать никакого чудесного изменения человеческой природы. Я предположу только, что события минувших времен шли по другим путям, что люди больше думали, больше обменивались мыслями, что обучение поставлено было гораздо лучше, чем теперь. Я ведь только того и хочу, чтобы людей лучше учили, чтобы там, где возможно зажечь огонь духа Божия, его бы зажигали. Я буду исходить из предположения, что каждый человек получил воспитание. Под воспитанием я разумею знание и понимание истории. Да, м-р Фарр, я верю в спасение посредством истории. Итак, я буду исходить из того, что все не только обучены читать, писать и считать, но что им преподана, насколько это можно просто и ясно преподать, история



земли, места нашего пребывания во времени и пространстве, и подлинная история человечества. Я не стану предполагать в людях большего знания действительности, чем то, которым они обладают теперь, но я предполагаю, что знания не будут скапливаться без всякой системы во многих умах и многих книгах и на многих языках, а что все будет разобрано и ясно распределено для удобного общего пользования. Никто не будет отстранен от знания, никому оно не будет дано в искаженном виде. Кроме того, я еще предполагаю, что вместо того, чтобы говорить на мириаде разных языков и наречий, люди смогут все читать одни и те же книги и говорить на общем языке.

Вы скажете, что все это очень трудно предположить, но ничего невозможного тут нет. Небольшое число решительно настроенных людей могли бы определенно направить человечество в эту сторону, и люди достигли бы такого состояния в течение, скажем, двенадцати поколений. Но подумайте, насколько иным сделался бы мир—совершенно иным. В мире, освещенном и раз'ясненном таким воспитанием, большинство ожесточенных разногласий настоящего времени были бы совершенно немислимы. Люди и целые общины перестали бы вести себя, как горячечные больные в бреду, которые бьют ухаживающих за ними сиделок, опрокидывают пищу и лекарство и наносят увечья себе и другим. Они сознавали бы общность происхождения всех людей, знали бы, что у всех будут общие потомки—в наших потомках, в конце-концов, все наши жизни должны вновь слиться—и понимали бы общность судьбы всех людей. На таком более открытом и более свежем воздухе огонь, который и есть Бог, разгорится ярче; большинство из нас не знают Бога только по невежеству. Гораздо больше людей, мужчин и женщин, будут с радостью работать на благо человечества, и зло,



которое существует во всех нас, станет более явным, его легче будет сдерживать. Я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь был насквозь дурным человеком, но в нашем теперешнем темном мире доброе начало человеческой природы находится в тисках, и самопожертвование вызывает насмешки. Дурные примеры завершают то, что создается дурным, не сознающим своей цели, преподаванием. В этом нашем мире безумие и ненависть так далеко отгоняют своим ревом всякие здоровые чувства, что их и не услышать. Только твердая воля школьных наставников и учителей может надеяться, что она это изменит. И чем это изменить, если не обучением? Разве вы не видите, как много значит обучение?

Когда я предлагаю вам на месте нашего старого мира ничем не сдерживаемых страстей, мира жадности, мелочности и мелкой животности—вообразить обученный и воспитанный мир, мир воспитываемый не наемниками, не кое-как, а по-настоящему и настоящими людьми,—то я не требую веры в какое-то волшебное преобразование человеческой природы. Представьте себе только, что ум каждого человека просветили настолько, насколько он способен воспринимать свет знания, а не затемняли, не заволакивали туманом, как это делается теперь. Каждому дадут наилучшие возможности развить лучшее, что в нем заложено. Каждый будет жить в свете самого острого самоанализа и ясной взаимной критики. Мы будем жить, конечно, в более здоровых, более заботливо организованных условиях. Такое положение вещей не ослабит природное тщеславие или эгоизм, не излечит жадного человека от его жадности, безумца от его безрассудства, не нормального от его ненормальности или сластолюбца от его страстей. Но у них не будет оправданий, им не за что будет укрыться. Жизнь в новых условиях осветит их изнутри и озарит все вокруг них. Их пороки уподобятся



болезни, в минуты просветления они сами рады будут излечиться от нее, и, во всяком случае, будут стараться не передавать ее другим. Этот мир и стремятся утвердить те из нас, школьных наставников и учителей, в чьих сердцах уже зажегся неугасимый огонь Божий. Над созданием этого мира они трудятся, поколение за поколением, наперекор неукладному, иногда наперекор надеждам. В этом состоит труд, возложенный на нас теперь Богом. Мы свершим этот труд, и тогда перед человечеством откроются блестящие возможности...

В теперешнем мире люди живут, чтобы быть самими собою. Получив жизнь, они легкомысленно утрачивают ее; в том мире, который мы стремимся построить, они будут отдаваться Богу человечества, и тогда будут действительно жить. Они естественным образом изменят свои учреждения и методы, и тогда можно будет наилучшим образом использовать всех людей для общего дела человечества. Нашу маленькую планету, разорванную на клочки обособленных владений, они вновь превратят в единый сад...

Самое поразительное в людях в настоящее время—это, что они не понимают огромных возможностей власти и благополучия, которые им дает наука.

— Так почему же не обучать науке?—воскликнул м-р Фарр.

— Только при условии, что они объединят свои усилия. Тщетно решать задачи положительной науки, если не решить до того общественные и политические задачи. А когда эти задачи будут разрешены, то все механические и технические трудности окажутся совершенно ничтожными. Тут нет никакой оккультной тайны; это—ясный и вполне доказуемый факт, что в мире было бы достаточно пищи и достаточно досуга для всякого человека, если бы путем общемирового обучения дух единства



взял верх над склонностью к разладу. И сверх того, сделалось бы возможным поднять на неизмеримую высоту общее здоровье и общее благополучие. Посмотрите открытым взором на жизнь, какова она есть. Большинство людей, если они и не умирают преждевременной смертью, все в большей или меньшей мере страдают от недугований, которых можно избежать. Они или больны, или оправляются от болезней, или страдают и изувечены, вследствие какой-нибудь предотвратимой отравы в крови; или они истощены и не могут развиваться физически, вследствие отнюдь не вызванного необходимостью плохого питания; или они слабеют и падают духом из-за плохого жилья, плохой одежды, вследствие скучной работы, необеспеченности и тревоги. Лишь немногие пользуются в течение долгих промежутков времени стихийным чувством довольства, которое естественно соединяется с хорошим здоровьем. Этот почти общий упадок жизненных сил не удручает нас только потому, что большинство даже неспособно представить себе другого состояния; но он влечет за собой огромную потерю богатых возможностей для человечества. Чем меньше труда, тем меньше надежд впереди. Разрозненные усилия никогда не выведут людей из этой трясины недугований. У нас в Уолдингс-тантоне были наилучшие гигиенические условия, какие только возможно теперь создать, мы принимали величайшие предосторожности, и всё же не проходило года, чтобы наши усилия не парализовались, или не тормозились какой-нибудь эпидемией, то инфлуэнцией в одном году, то корью в другом и т. д. Но мы хоть принимали предосторожности; а городское население, в особенности в бедных кварталах, не принимает никаких мер и не может принимать. Я полагаю, что опустошение, производимое этими мелкими напастями, повторяющимися из года в год, значительно превосходит потери от больших эпидемий,



которые иногда проносятся по всему миру. Но все эти бедствия, и большие и малые, можно было бы, при наличии единоклубия в мире, совершенно изгнать из жизни человечества. При достаточном единоклубии и разумном руководстве, люди могли бы прогнать назад все эти заразные болезни, одну за другой, в местности, где они существуют только эндемически и откуда они временами разносятся во все концы света на гибель миру. Болезни эти можно истребить навсегда на месте их возникновения. Теперь это еще недостижимо; не потому, что нет достаточных знаний, а потому, что люди не получили нужного воспитания; только это воспитание может заставить всех в мире понять, поверить, захотеть—словом, дать то, что нужно для такого коллективного предприятия. Страдания и взаимные жестокости животных, несомненно, часть суровой бесцельности природы; но люди имеют возможность заменить эту бесцельность целесообразностью. Они обладают всеми знаниями и средствами, нужными, чтобы выбраться из тупика дурных поступков, страданий и отвратительной мелочности, к которым они толкают друг друга. Но они этого не делают, потому что не обладают достаточным воспитанием, потому что в них не воспитали в достаточной мере здоровое понимание и энергию. Вся их коллективная сила растрачивается на жалкие распри и подозрения, на войну и подготовку войны, на судебные процессы и придирки, на скопление бесплодных частных богатств и личной власти, на глупые преследования, столкновения и суету. И не в том только дело, что они живут в условиях инфекции, болезней и раздражения, плохого питания и жилья, и нравственной испорченности,—хотя свет только ждет, чтобы осиять их, а здоровье и радость у них под рукой,—дело не в этом, а в том, что все, таким путем достигнутое ими, было бы только предвестником еще больших достижений.



Путем разумного пользования теми силами и способностями, какими люди теперь обладают, они могли бы уничтожить бедность, грязь и горе жизни. Кроме того, общий уровень жизненной радости бесконечно повысился бы,—потому что каждый бы сознавал, что он принадлежит к единому, понятному, целому и почетным образом соучаствует в выполнении бессмертной мировой задачи. В настоящее время лишь маленькая горсть людей может ощущать удовлетворение своей жизнью. Быть может, некоторые учителя чувствуют, что они служат Богу, как должно, а также некоторые ученые исследователи, доктора, строители мостов и строители машин, некоторые сельские хозяева, мореплаватели и люди такого рода. Они могут чувствовать, что делают нечто нужное, или строят нечто, что останется. Большинство же мужчин и женщин наших дней—точно звери, загнанные в подземелье; они отдаются своим низменным занятиям, промышляют, заискивают в других или ссорятся. У них нет мира в сердце; они потакают своим страстям, ищут возбуждений. Они знают, что жизнь их бесцельна, и не могут вырваться из этой бесцельности. Мир полон ссор и пререканий, насмешек и злобы, низких уловок и возбужденных усилий, разврата без проблеска наслаждения и напрасной траты сил; слепая природа изрыгнула этих людей в мир, и никакой свет не направляет их шаги. А между тем, для всякого есть работа в жизни, есть ясное, разумное основание для работы и есть счастье в выполнении ее...

Я не знаю, сознает ли кто-нибудь из нас, какое большое значение имел бы для людей систематически организованный человеческий труд в деле научных изысканий. Говорят о чудесах, созданных наукой за последние двести лет; в большинстве случаев мы слишком неорганизованы и безрассудны, чтобы вполне исполь-



зовать эти чудеса. Но что бы наука ни создала до сих пор, все это—ничтожная часть того, что научные изыскания могут дать человечеству в настоящее время. Всё знание, которое составляет отличие наших дней от мира времен королевы Елизаветы, было делом нескольких десятков тысяч человек, в большинстве случаев людей с ограниченными средствами, работавших над ограниченным материалом и ограниченными временами—в мире, который не понимал их и противодействовал им. Много сотен тысяч людей, которые по своим дарованиям имели бы огромное значение в науке, не получили надлежащего воспитания и не имели возможности использовать свои таланты. Но в мире, просветленном пониманием, сеть научной работы почти без промахов захватит всех рожденных служить ей. Результаты трудов будут быстро и точно известны всем работникам, передаваясь от одного к другому, и каждое дарование найдет признание и поддержку. Бедная наука мерцает теперь среди наших преступлений и сумятицы, как плохо заправленный вонючий керосиновый фонарь в темной пещере, когда его хватает то один, то другой, часто для того, чтобы при свете этого фонаря грабить и насиловать. А в том просветленном мире наука будет подобна восходу солнца в ясный летний день. Мы не в состоянии и представить себе, как много человечество сможет свершить в самое короткое время. Наша власть над материей, наша власть над жизнью, наша власть над самими собой увеличивалась бы из года в год, изо дня в день.

Вот я тут, после долгих страданий, жду операции с неизвестным исходом; возможно, что она убьет меня. В этом нет никакой внутренней необходимости. И вот, мы все сидим тут, и нам жарко и неудобно в этой плохо проветренной, плохо обставленной комнате, выходящей на жалкий пустырь. Нет никакой



внутренней необходимости в этом. Таков характер нашего времени. Я сижу и терзаюсь от боли в преддверии смерти, потому что человечество допустило, чтобы я страдал... Всего этого можно избежать... Но это не будет длиться всегда, не всегда будет торжествовать Насмехающийся над человечеством.

И то знание, та власть и красота, которую мы, жалкие стражи перед зарей, только смутно предугадываем, это—лишь начало всего, что могло бы возникнуть из этих теней и этих мук. Не навсегда жизнь будет привязана к нашей планете и закована в цепях холода и невероятной пустоты пространства. Разве то, чего человек достиг, несмотря на все препятствия,—разве это не говорит вам, что он только в начале своих достижений? Что вскоре он возьмется за свое тело и свою жизнь и вылепит их соответственно своему желанию, что он возьмет себе красоту и счастье, как девушка срывает цветок и вплетает его себе в волосы. Вы сказали, д-р Баррак, что когда закончится соревнование между людьми, то наступит конец и всем изменениям в человеке. Вы сказали это, не подумав. Ведь, когда коллективная воля человечества выяснится с полной определенностью, то уже не будет слепой борьбы за то, чтобы удержать жизнь, борьбы, похожей на свалку толпы, втиснутой в тупик. Качества, нужные для достижения великих целей человечества, будут заботливо выращиваться и укрепляться. Мужчинам и женщинам, которые в наименьшей мере обладают этими качествами, дадут понять, что необходимо ограничить распространение их недостатков. Вы сказали, что, когда между людьми прекратится соревнование, они остановятся в своем развитии. Вернее обратное: когда кончится междоусобная война, тогда только человечество сделает большой шаг вперед. Человек превратит весь мир в сад для себя и будет управлять жизнью не только людей, но



и всего живого в мире. Он изгонит жестокость из жизни, приручит животных и внушит им мягкосердечие. Он истребит мух и москитов, шипы и яды, паразитов в крови, болезни скота. Он похитит у атомов их энергию, вырвет у глубин пространства их тайну. Он снесет стены своей тюрьмы в пространстве. Он будет ступать со звезды на звезду, как мы теперь переступаем с камня на камень, переходя через ручеек. И будет идти вперед до тех пор, пока будет стоять в свете лица Божия и будет глядеть в лицо Насмешнику и Врагу...

— Вот бред! — не вытерпев воскликнул м-р Дэд.

— Вы, быть может, думаете, что я говорю в бреду, потому что тело мое страдает? Но уверяю вас, сознание мое никогда не было так ясно, как теперь. У меня чувство, точно я на половину стою уже вне этой маленькой жизни, которая так долго держала меня в плену. Я вам не сон рассказываю, а говорю о действительности. Мир будет принадлежать человеку, звезды в их течении будут служить человеку, если только он захочет следовать Богу, который взывает к нему, если только он примет дар, который ему предлагает Бог. В то время, как я тут сижу и говорю с вами, в то время, как истина всего этого делается такой очевидной для меня, что я просто не могу понять вашего молчания, не могу понять, почему вы не горите, как я горю, огнем намерений Божиих...

Он вдруг сразу остановился. Казалось, что силы внезапно покинули его. Голова его опустилась, и когда он снова заговорил, у него был голос слабого, усталого человека.

— Я говорю... говорю... А безнадежное сознание действительности проносится потом разрушительным вихрем в моем уме, и мой маленький светильник надежды потухает... Точно какой-то великий враг сидит в высоте



над всем моим миром и насмехается над каждым моим словом, надо всем, что я делаю...

Он глубоко вздохнул.

— Ответил ли я на все ваши вопросы, доктор?—спросил он.

## § 6

— Вы говорите о Боге,—сказал д-р Баррак.—Но все, что вы говорите о нем, разве это действительно то, что люди разумеют под понятием Бога? Мне кажется, как я и говорил с самого начала, что ваш Бог просто — олицетворение воли к добру во всех нас. Зачем же приписывать к этому Богу? Бог — слово, которое связано со всякого рода злодеяниями и жестокостями. Оно вызывает в памяти жрецов, фанатизм преследования. Почему вы не называете эту стремящуюся ввысь и вдаль силу Человеческим Началом? Почему не называете ее духом человеческим? Тогда бы и такой неверующий, как я, чувствовал возможность столкнуться с вами...

— Я вам уже доказывал, что то, о чем я говорю, не есть человеческое начало, не есть дух человеческий. Дух человеческий измыслил ядовитые газы и подводные лодки; дух человеческий — это дух завистливый, враждующий и пристрастный. Человечество таит в себе зародыши жадности и соревнования, и дух человеческий — это гораздо больше страх и ненависть, затаенность и предательство, нежели стремление установить порядок в мире. А дух во мне, тот огонь, который я называю Богом, зажжен во мне я не знаю как, но зажжен извне...

Я говорю, — продолжал м-р Хасс, — словами, которые мне сразу приходят в голову. Но я готов пойти вам навстречу и признать, что я выражаюсь метафорически и неточно... Дух, который проникает в жизнь — он имеет



скорее личный, нежели предметный характер, и потому я говорю о нем: Он. И Он не есть свойство или особый вид всего, но выбор среди того, что есть... Он схватывает, поднимает ввысь и укрепляет все благородное в естественных влечениях духа. Он осуждает жестокость и все дурное...

Я не берусь объяснять то, чего не могу объяснить. Возможно, что в жизни—пока еще только отдаленная тень Бога. Вы станете, быть может, доказывать, доктор Баррак, что этот огонь в нашем сердце, который я называю Богом, такое же создание вашего Процесса, как и всё другое в жизни. Я не могу спорить против этого. Я не столько верю в то, о чем вам теперь говорю, как чувствую это. Мне кажется, что творческое стремление, пламенеющее во мне, отлично по своей природе от слепого Процесса материи, что это—сила, которая идет против силы, помрачающей разум человечества... Но одно я знаю: раз в человеке загорится этот огонь, то он становится подобен огню сожигающему. Дух человека, в котором он зажжен, будет пламенеть с этой минуты. Огонь этот направляет его совесть, властно подчиняя ее своей воле. Огонь этот побуждает его жить остаток дней в труде и в борьбе за единство, освобождение и торжество человечества. Человек, быть может, будет попрежнему мелок, попрежнему труслив и низок, но он будет сознавать, каков он... Некоторые старинные изречения изумительно сохранились во всей своей силе. В сердце моем я знаю, что Спаситель мой жив...

Он вдруг остановился.

Д-р Баррак не подготовил ответа. Но он упрямо качал головой. Эти устарелые изречения были ему ненавистны. Он ощущал в них лицемерие, заискивание перед силами, которые теперь—уже отошли в прошлое и потеряли всякое значение. Сквозь такие вот щели и просачи-



вается вновь суеверие в очищенные с таким трудом умы человеческие. Но с м-ром Хассом не легко было вести спор.

— Нет,—сказал для начала доктор.—Нет...

## § 7

Судьба пришла на помощь д-ру Барраку и выручила его.

Маленькое совещание в «Морской Панораме» прониклось вдруг духом присоединившейся к нему новой личности. Появился низкого роста, рассерженный, покрасневший от жары человек. У него были решительные темно-карие глаза на загорелом лице; седые усы торчали щеткой, и нижняя челюсть сильно выдавалась вперед. На нем был яркий голубовато-серый костюм, и он держал в руке ярко-коричневый кожаный саквояж.

Он появился сначала у окна и что-то громко выкрикивал, но из комнаты нельзя было расслышать слов. Выражение лица у него было очень ругательское. Он угрожающе размахивал саквояжем.

— Боже! — воскликнул д-р Баррак. — Сэр Алфей!.. Я представления не имел, что так поздно!

Он выбежал из комнаты, и стычка произошла уже в коридоре.

— Почему вы не встретили меня на вокзале? — спросил сэр Алфей, входя в комнату. — Вы должны были встретить меня на вокзале. Это вздор, что вы не знали, который час. Практикующий врач должен всегда знать, который час. Это его прямая обязанность. Я не могу допустить такое отсутствие внимания ко мне. Мне самому пришлось искать дорогу к вам — никто не проводил меня сюда. На вокзале не было ни одного кэба. Пришлось идти всю дорогу пешком, самому все нести в руках и читать названия на решетках домов. Нелепейшие и вульгарные на-



звания: «Тай», «Берег Тайма», «Кедры», «Капернаум» — все один к одному. Это хуже Фрейда. — Д-р Баррак продолжал смущенно и невнятно извиняться.

— Мы тут беседовали, сэр Алфей, — сказал сэр Элифас, выступая в защиту доктора от нападок знаменитого специалиста, — мы беседовали на некоторые очень увлекательные темы. Вот почему вас не встретили на вокзале. Мы беседовали о воспитании и о вселенной. О судьбе, о свободе воли, о предназначенном в веках. Не всякий подрядчик строительных работ умеет приводить цитаты из Мильтона...

Знаменитый хирург взглянул на владельца патента теманитовых плит.

— Судьба — вздор, — отрывисто и довольно грубо сказал сэр Алфей. — Нельзя было из-за этого не встретить меня. — Его блестящие глазки быстро обежали все собрание и узнали м-ра Хасса. — Как? Мой пациент еще не в постели! Даже не в постели! Ложитесь в постель, сэр! Ложитесь в постель!

Он набросился на д-ра Баррака:

— Вы, сэр, относитесь к операции с таким легкомыслием!



---

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### ОПЕРАЦИЯ

#### § 1

В то время, как сэр Алфей громко ворчал на то, что ничего не подготовлено к операции, м-р Хасс, при помощи д-ра Баррака, прошел наверх и разделся.

Долгий спор внизу захватил все его мысли.

Многое осталось еще невыясненным у него в уме... Ему хотелось еще много сказать, и все церемонии, предшествовавшие его вивисекции, казались ему неважным и скучным ритуалом, прервавшим нечто гораздо более значительное.

Постель, инструменты, приготовление к хлороформированию, все это было для него лишь новым доказательством его правоты в споре. Пока д-р Баррак готовил маску для хлороформа, чтобы закрыть ею нос и рот м-ра Хасса, он, лежа в постели, пытался доказать, что оперативное лечение, вообще, противоречит научному фатализму самого доктора. Но сэр Алфей прервал его.

— Дышите глубже,—сказал д-р Баррак...

— Дышите глубже...

Вся огромная фабрика аргументов, работавшая в его мозгу, поплыла вместе с ним самим через бездну страха и пустоты в мыслях. Продумал ли он или видел во сне



то, что затем последовало, нельзя определить; мы можем только передать те мысли, которые, как хрустальный пузырь,—величиной в целую вселенную,—заполнили его сознание. Он чувствовал характерное в таких случаях сомнение: выполнит ли хлороформ свою задачу? А потом будто лопнула скрипичная струна—и звук, вроде: плонт... Но все же он как будто еще не потерял сознание. Он все сознавал, но все как-то переменялось. Д-р Баррак был по прежнему здесь, но сэр Элифас, и м-р Дэд, и м-р Фарр, хотя он их оставил внизу—также каким-то образом попали сюда и сидели на земле, посыпанной пеплом, важно сидели на грудах пепла под ослепительно-ярким небом. Сэр Алфей, сестра милосердия, постель—все это исчезло. Казалось, их он видел во сне.

Действительностью же, вечной действительностью было то, что настало теперь: вот это рубище и эти дымящиеся груды пепла за городскими воротами. Это был без конца длящийся опыт и бессмертный спор. Он был Иов, тот самый Иов, который сидел тут на гноище тысячи лет, а худой коршунообразный старик в широком зеленом тюрбане—был Элифас Теманит, а второй человек поменьше, который высовывал голову из капюшона (на нем было что-то вроде плаща с капюшоном), был его друг Бильдад Шухит. А человек с энергичным грубым лицом, в неопрятной льняной одежде—был Зофар Наамафит. А вот этот, помоложе, с лицом в кулачек, который сидел и с притворно-смирненным видом так дерзко судил их всех, был Элайю, сын Бараха из Буца, из рода Рама...

Даже странно, как это могли вообразить, что эти люди—доктора, или учителя, или поставщики военных снаряжений. Их бессмертные образы лишь переоделись в преходящие одежды определенной эпохи. На самом деле они сидели здесь веками и спорили, и будут еще сидеть и спорить целые века. Немного поодаль ждали ослы, вер-



блюды и рабы трех вождей, и вот подошли ближе два эфиопские раба Элифаса и подали чаши с тонким серым пеплом. (Элифас из гигиенических соображений не посыпал голову обыкновенным пеплом). А там, еще дальше, обрызганные зеленою пальм, втиснутые меж утесов сверкающим рукавом реки, стояли низкие коричневые стены из обожженного, высушенного на солнце кирпича, стояли дома с плоскими крышами и витые башни храмов старинного города Уц, где впервые начался этот великий спор. На восток и на запад, на север и на юг простирались широкие равнины мира, с разбросанными по всему пространству маленькими финиковыми пальмами, и над ними высился беспредельный купол неба, усеянный солнцами и звездами и залитый светом.

Свет этот воссиял после того, как кончил говорить Элайю, и это был не только свет, но вместе с тем и голос, ясный и светозарный, и душа Иова преклонилась пред ним и замолкла...

— Кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла?

Иов сделал великое усилие и поднял глаза к зениту.

Казалось, что там сиял тот, кто был всё, и кто вмещал в себе все державы и царства, и точно завеса или тень была перед лицом его. Точно темная фигура, окруженная узорчатым многоцветным сиянием, наклонилась над всем миром и созерцала его с любопытством и недоброжелательством, и казалось также, будто эта темная фигура—только прозрачный покров, застилающий бесконечное и непрерывное сияние света. Была ли то завеса перед светом, или темнота эта гнездилась в самой сердцевине света и расстилалась перед лицом света, расстилалась и отступала и снова расстилалась непрерывным приливом и отливом? И голос, который говорил—был как бы голос Бога, но временами казалось, что голос этот исхо-



дил от Сатаны. Когда голос говорил, обращаясь к Иову, друзья его внимали и смотрели на него, и глаза Элайю блестели, как гранаты, и глаза Элифаса были, как изумруды, но глаза Бильдада были черны, как у ящерицы на стене, а у Зофара не было глаз, и он глядел на Иова только темными тенями из-под нахмуренных бровей. Когда Бог говорил, то все они, и Иов с ними, становились все меньше и меньше, всё с'еживались, пока не сделались меньше всего, что только возможно себе представить. И вся сцена вдруг сделалась совсем игрушечной. Все стало ненастоящим, точно переливы реющих в воздухе и падающих бумажных конфетти среди бездонных громад.

— Кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла?

Но во сне, который снился м-ру Хассу, когда он лежал под хлороформом, Бог говорил не словами, а светом. В ушах у м-ра Хасса не раздавалось звуков, но мысли его неслись, как быстрые ручьи пламени в мозгу, там собирались в маленькие озера и составляли пульсирующие подобия волн — кривая вполеталась в кривую каким-то кружевом.

Мысли, которые, как ему казалось, Бог высказывал через него, можно было передать словами, но лишь каким-то особенным образом и далеко не полно, ибо это были мысли о том, что за пределами и что выше мира, а слова наши составлены из названий предметов и чувств в мире. Многие противоречия становились вполне совместимыми, и непостижимое делалось простым, потому что это происходило во сне. Наркоз как бы снял его мысли с якоря слов и фраз, освободил их от притяжения осязательной действительности. Но ход его мыслей среди звезд и пространств был тот же, как в душевной комнате в Сандеринге-на-море.



Так приблизительно неслись мысли в мозгу м-ра Хасса. Ему сначала казалось, что на призыв голоса, заполняющего мир, он отвечает не собственной волей, а как-то механически. Он сказал:

— Я черпаю знание из этих слов.

Ответ на это раздался из уст Сатаны и в насмешливом тоне. Сатана сделался для Иова очень близкой и осязательной реальностью: темное, изможденное временем, но все же очень живое лицо; круги пылающих красок расходятся от него один за другим к пределам пространства, как волны, которые пловец толкает по направлению к берегу.

— Но есть у тебя сосуд, чтобы хранить в нем знание, если мы бы его тебе дали?

— Во имя Бога в сердце моем,—сказал Иов,—я требую знания и власти.

— Кто ты такой? Педагог, который в унылых комнатах дает плохо подготовленные уроки истории и воображает, что научил своих молодых воспитанников играть в чехарду среди звезд.

— Я—человек,—ответил Иов.

— Х а с с!

Но у м-ра Хасса появилась та странная способность отрешиться от своей индивидуальности и совершенно забыть себя, которую часто приносят сны. Он ответил с полной убежденностью:—«Я—Человек. Там внизу я был Хасс, но здесь я—Человек. Я—всякий человек, который когда-либо взирал вверх в чаянии вот этого света Божия. Я—всякий, кто мыслил, трудился для человечества и хотел его блага. Я—все исследователи и вожди, и учителя, когда-либо бывшие у человечества».

Спор иссяк. М-р Хасс доказал свое, как вообще всегда настаивают на своем во сне. Беседа перешла на другие волновавшие его вопросы.



— Ты хочешь дойти до самого дна знания. Ты хотел бы взобраться на высоты пространства... И тому, и другому нет пределов.

— Я буду вечно искать глубины и подниматься на высоты. Я одолею тебя.

— Но никогда меня не уничтожишь.

— Я пробью свой путь сквозь тебя к Богу.

— И никогда не достигнешь его...

Казалось, что говорил и еще другой какой-то голос. На некоторое время завеса Сатаны отодвинулась. Мысли, которые голос этот изрекал, проносились, как невоспламеняющийся расплавленный металл в мозгу Иова,—но говорил ли он все это Богу, или Бог говорил все это ему—этого никак нельзя было установить.

— Так жизнь будет протекать всегда. И никаким другим путем она и не могла бы идти. Никаким иным путем не может идти то, что есть жизнь. Разве возможна борьба, если победа обеспечена? Зачем бы люди боролись, будь они уверены в благополучном исходе? Как подниматься, если нет опасности упасть в пропасть? Мрак и зло, окружающие людей—это доказательства реальности бытия...

Веками голос Иова возносил жалобы и будет возносить их впредь. Сквозь ряд веков огонь его веры вспыхивает, мерцает, грозит потухнуть. Но прав ли Иов в своих жалобах?

Да, прав ли Иов в своих жалобах? Мысли его окрашены в цвет пережитых им несчастий. Весь мир отражает для него страдания его плоти. Он видит перед собой только болезнь, жестокость и смерть. Но разве есть хоть какое-нибудь зло, или жестокость, или страдание, устранить которое было бы вне человеческих возможностей? Если бы такое зло существовало, Иов мог бы действительно жаловаться, что Бог смеется над ним. Разве закаты солнца



уродливы и тягостны? Разве есть что-нибудь противное в горах, отталкивающее в далеких холмах? Разве есть хоть какой-нибудь изъян в звездном небе? Если жизнь животных и людей мрачна и лишена красоты, то как беспримерно прекрасно строение их тела. Ты возмущен тем, что красота клеток и тканей может создать идиота. Разве у людей нет воли, разве у людей нет понимания? Зачем же они это допускают? Мрак и уродство, зло и жестокость — только вызов вам, людям. Вы обладаете властью управлять всем этим...

Сквозь ступившиеся над его сознанием облака прорезался солнечный свет этих слов: «Власть управлять всем этим. Власть управлять»...

— Ты придаешь слишком много значения боли. Боль — быстротечное зло; она кончается и ее забывают. Если бы не воспоминание о ней и не страх перед нею, она была бы ничто, она была бы противоречием, которого следует избегать, предостережением, с которым нужно считаться. Чем бы сделалась жизнь без боли? Боль властвует только над трусливыми людьми. Человек вполне властен управлять ею. Человек властен всем управлять...

Больной точно обсуждал все это во сне сам с собой. И вместе с тем он точно был — вся вселенная, и Иов, Сатана и Бог спорили в нем. Мысли понеслись быстрее в его мозгу и сделались вдруг яркими и сверкающими, как сверкают воды, вырываясь быстрым потоком на свет из ущелий Ган. Весь позеленевший он что-то бормотал и волновался, поглощенный великим спором — в то время как знаменитый хирург работал скальпелем, а доктор Баррак отдавал шопотом распоряжения склоненной над больным сестре.

— Прибавьте хлороформу, — сказал доктор Баррак.

— Облако откатывается от моей души... Я пережил великий мрак. Я прошел через глубокие воды...



— А разве в твоей жизни не было смеха? Разве свежесть летнего утра никогда не вливала радость в тебя? Разве ты не знал объятий любви, не прижимался щекой к щеке, не касался устами уст? Разве никогда не выплывал в освещенное солнцем море, не выпускал радостного крика на горном склоне? Разве нет радости в пожатии руки? Твой сын—твой сын, ты говоришь, умер с честью. Разве нет радости в этой чести? У твоего сына была чистая и прямая душа, и жизнь его была прекрасна. Разве за это не следует благодарить Бога? Разве тебе не случалось играть с детьми, живущими в радости? Не случалось разве, что кто-нибудь из твоих учеников был восприимчив к твоему преподаванию и платил тебе сторицей за то, что ты ему давал? Неужели ты станешь отрицать радость еды, первого кусочка сочного красного ростбифа в морозный день и доброго глотка эля? Разве ты не знавал удовлетворения от хорошо выполненной работы, от сна после трудового дня? Разве землепашец не испытывает радости среди хорошо вспаханного поля и среди полей, зеленеющих первыми всходами? Когда огромные суда прорезают волны, и в воздухе жужжит аэроплан, разве и тогда человек кажется чем-то совершенно безнадежным? Неужели стук и размах машины тоже вызывают в тебе отчаяние? Болезнь изменила мир в твоих глазах; краткая пора несчастий скрыла свет от твоих глаз.

Больному казалось во сне, будто он пробирается через опушку большого леса и выходит на открытое место; но он пробивал себе путь не среди деревьев, а среди полос, сетей и сплетающихся извивов ослепительного, многоцветного света,—он шел к какому-то манящему сиянию вдали...

Теперь он достиг невероятных размеров и ступал уже не по земле, а по хрустальному пространству, где заключены были звезды в прозрачных глубинах. Хотя он и при-



ближался к открытому месту, но все же он не доходил до него; искрящаяся сеть сначала как будто стала тоньше, но потом снова сгустилась. Он все еще боролся, и черные сомнения, которые на минуту покинули его душу, теперь снова спустились на нее. И он чувствовал, что это сон, и что сон этот быстро приходит к концу.

— О Боже!—воскликнул он,—ответь мне. Сатана посмеялся надо мною, и мне больно. Ответь мне, прежде чем ты опять скроешься из моих глаз. Прав я в моей борьбе? Прав я, что ухожу с моей маленькой земли сюда, в надзвездные пространства?

— Прав, если дерзаешь.

— Будет ли мне победа и власть? Дай обещание!

— Ты можешь вечно побеждать, и перед тобою будут открываться все новые миры для новых побед.

— Могу—но наверное ждет ли меня победа?

Поток расплавленных мыслей точно вдруг остановился.

— Ответь мне!—крикнул он. Казалось, что все остановилось.

Сияющие мысли медленно пришли снова в движение.

— До тех пор, пока длится твое мужество, ты будешь побеждать... Поскольку тебя не оставит мужество, то пусть ночь мрачна, пусть твоя теперешняя борьба кровава и жестока и пусть конец ее будет странный и недобрый, но если тебя не оставит мужество—все же победа будет твоею—ты поймешь потом, каким образом это случится, поймешь, когда придет победа. Только будь мужественным до конца. Все зависит от твоего мужества... Только благодаря своему мужеству, звезды свершают свой путь из дня в день. Только жизненное мужество держит землю и небо врозь... Если не станет мужества, если потухнет этот священный огонь, все рушится и все кончится—добро и зло, пространство и время.



— И ничего не останется?

— Н и ч е г о .

— Ничего, — повторил он, и слово его разостлалось как темная и затемняющая маска по лицу всего мира.

И здесь, точно в пояснение этого слова, показалось, что весь мир двинулся внутрь — сам в себя, и это движение все быстрее и быстрее, пока, наконец, все не рухнуло и не понеслось с невероятной скоростью. Хасс тщетно сопротивлялся этому крушению и чувствовал, что победить его не в силах. Белый свет Бога и вихрь цветов мира и пространства между звездами — точно невидимый кулак сжал все это вместе. Все устремилось в одну точку — как вода в воронке устремляется к отверстию. Вселенная становилась маленькой, совсем маленькой, уменьшилась до размера монеты, пятышка, булавоочной головки, густо-черной математической точки и — исчезла. Он услышал свой собственный голос, он, как пылинка, которую носит ветром, кричит в пустоте: — «Но устоит ли мое мужество?» Ответа на этот вопрос не последовало. Не только все в пространстве, но и все во времени слилось и превратилось в ничто. Последнее мгновение сна устремилось к первому, смяло все промежуточные мгновенья и слило их в одно. М-ру Хассу казалось, что это — все тот же первый миг потери сознания. В ушах его все еще раздавался звук лопнувшей струны: плон!

Звук этот слился с тем звуком, который слышался ему до видения...

Он ощутил новую боль внутри, не прежнюю тупую боль, а нечто другое, острое, режущее. Он стал прерывисто дышать.

— Скорее, — произнес чей-то голос. — Он приходит в себя.



— Он не проснется еще несколько часов,—сказал другой голос.

— Смотрите на рот и глаза!

Он поднял веки, тяжелые, как свинец. Он почувствовал, что глядит на умное, но неприятное лицо сэра Алфея Менго, старался понять, что происходит, но забыл, как он попал в такую обстановку, и снова сознательно и намеренно впал в забытье.



---

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### ПИСЬМА И ТЕЛЕГРАММА

#### § 1

Прошло три недели.

Это была самая удачная операция в практике и сэра Алфея Менго, и д-ра Баррака. Вырезанное новообразование оказалось не злокачественным; диагноз рака был ошибочный. М-р Хасс все еще лежал недвижно на спине в постели, в доме м-сс Крум, но уже был в состоянии читать книги, письма и газеты и интересовался делами. Удаление болезненной опухоли вызвало большую перемену в его нравственном состоянии. У него уже не было ощущения, что непобедимая враждебная сила витает над всей его жизнью; к нему вернулось свойственное ему от природы мужество. И мир, который казался ему очагом всяческих несчастий, стал внушать ему больше надежд. Последнее большое наступление германских войск на Париж кончилось катастрофическим поражением, благодаря контр-наступлению маршала Фоша; каждое утро газеты приносили вести о новых победах союзников, и будущее не омрачалось более падающей на него черной тенью германского цезаризма. Воображение людей проходило фазу благоразумия и благородства; множество умов было захвачено идеей организованного общего мира. Открывалась пер-



спектива новой и лучшей эпохи—немыслимой в те недели, когда болезнь м-ра Хасса стала сваливать его с ног. И не только улучшение общего положения рассеяло его мрачные ожидания. Его денежные дела, пошатнувшиеся из-за одной случайности, поправились благодаря другой. Троюродный брат м-ра Хасса, у которого не было более близких родственников, нежели он, умер от размягчения мозга—после того, как, играя на бирже, дошел почти до идиотства. Он оставил свое состояние частью м-ру Хассу, частью Уолдингстантонской школе. В течение нескольких лет до войны он бешено скупал упавшие медные акции и набрал груды ничего, казалось, не стоящей бумаги. Война совершенно изменила биржевые ценности. Умерший, несмотря на крупные потери на канадских земельных фондах, не только не оказался банкротом, но выяснилось, что состояние его равняется почти тридцати тысячам фунтам. Благотворное влияние денег гораздо больше, чем люди иногда полагают. Свалившееся с неба богатство дало много очень нужных удобств, освободило от многих стеснений и подняло настроение м-сс Хасс больше, чем это сделало бы все другое. А мысли м-ра Хасса зависели от настроения его жены гораздо более, чем он сам подозревал.

Но для м-ра Хасса готовились еще гораздо более приятные события. Оказалось, что остальные попечители Уолдингстантона не присоединились к сэру Элифасу и м-ру Дэду в вопросе о замещении м-ра Хасса м-ром Фарром, а группа бывших учеников школы, ушедших на фронт, узнав о том, что произошло, составила маленький комитет—специально с целью отстоять своего старого учителя. Во главе комитета, по счастливой случайности, стоял молодой Кеннет Борроус, племянник и наследник сэра Элифаса. В школе он никогда не был в числе первых учеников, держался во всем на среднем уровне и не состоял в особенно близких отношениях с начальником школы.



Тем более приятной неожиданностью было то, что он выступил таким ревностным и неутомимым поборником установленного м-ром Хассом школьного строя. Он услышал о предполагаемых переменах за обедом у дяди, когда приехал с фронта на побывку домой, и тотчас же стал разбивать решения сэра Элифаса. Лэди Борроус обожала племянника и поэтому немедленно же стала на его сторону в защиту Хасса. Это вызвано было еще и тем, что ей не нравилась развязная оживленность м-ра Дэда за столом и не нравилось, как одевается м-р Фарр.

— Вы не знаете, дядя, чем м-р Хасс был для нас, — повторил несколько раз молодой человек, и когда он вернулся во Францию, слова эти росли и распускались в его душе. Он был одним из тех юношей, на которых война имела благотворное влияние, развивая все их душевные силы. Смерть, суровость жизни на войне и ответственность — ему не исполнилось еще и двадцати двух лет, а он уже был майором в артиллерии — превратила недавнего школьника в зрелого опытного человека. Он уже ясно представлял себе, что значит, когда у человека отнимают его дело. Он чувствовал себя при этом настолько возмужалым, что ему казалось совершенно естественным написать своему прежнему директору как равному. Читая его, написанное карандашом, письмо, ослабевший больной плакал, но не от печали, а от радости. Он перечитывал исписанные листы, как любовное письмо, и они лежали теперь на одеяле, а м-р Хасс глядел в потолок и уже мечтал о том, как возродится из пепла новый Уолдингстантон и затмит собою старый.

## § 2

«Только около месяца назад, — писал молодой человек, — мы все узнали о планах разрушить старые традиции Уолдингстантона, а теперь говорят, что вы отказы-



ваетесь от директорства и передаете школу м-ру Фарру. Я лично, сэр, не могу представить себе, как вы могли и подумать о том, чтобы отказаться от своего дела—да еще передать его такому человеку, как Farr. Я все еще как-то в этом сомневаюсь. Но дядя определенно утверждает, что вы хотите отказаться (он говорит, что сам он умолял вас не бросать школы), и только отдаленно допуская, что, быть может, это правда, я решаюсь беспокоить вас моим письмом. Словом, я умоляю вас не покидать школы, т. е. постоять за себя и за нас. Вы научили сотни учеников не отступать от своего долга и теперь вы обязаны перед нами держаться своего же правила. Я знаю, что вы больны, страшно больны. Я знаю про судьбу Джильберта и знаю, мы все знаем,—хотя он и не учился в нашей школе и вы никогда не отдавали ему предпочтения перед другими, вы не сделали ради него ни одной несправедливости,—мы все-таки знаем, как сильно вы его любили. Вы испытали величайшее горе. Но, поверьте, здесь на фронте есть несколько молодых людей, которые питают к вам истинно сыновнее чувство. Если вы сами и не любите, не можете любить их, как любили сына, то они всё же относятся к вам так, как хотел бы относиться каждый к своему собственному отцу. В особенности такие, например, как я, который вырос, не зная отца.

Я не умею красноречиво выражаться и не делаю собою чести м-ру Кроссу и его урокам английского языка. Я, вообще, против того, чтобы слишком много говорить. Но мне все-таки хочется сказать вам, как много вы дали многим из нас и почему у нас такое чувство, что если Уолдингстантон будет прежним, то это для нас—как раз-вевающеся знамя, а если Уолдингстантон откажется от своих традиций, то это вроде поражения или сдачи в плен. Я—простите меня—совершенно не собираюсь льстить вам и возвеличивать вас в моем письме. Самое обаятельное



в вас то, что мы всегда видели в вас человека с человеческими слабостями. Вы были неровны. Я помню некоторые ваши уроки, выше которых не может быть никаких уроков в мире, но помню и довольно-таки плохие уроки. Бывали иногда случаи, как например, история с ноябрьским фейерверком, когда мы считали, что вы были неправы и действовали несправедливо и слишком сурово».

— Я, конечно, был неправ,—сказал м-р Хасс.

«Это чуть не вызвало бунт. Но вот, в чем ваша огромная заслуга и почему Уолдингстантон не может обойтись без вас. Когда поднялся скандал из-за этого фейерверка, мы собрали своих старшин по классам и по интернату и пригласили для объяснений зачинщиков всей истории—вы и не знали про эту нашу сходку. Мы сказали им, что тоже считаем, что вы неправы, но что все равно, правы вы или нет, мы будем всегда стоять за вас и решили положить конец скандалам. Вы помните, может быть, как все сразу и кончилось. Этим-то вы и брали нас. Когда вы бывали неправы, вы не притворялись непогрешимым. Ни один учитель, никакой отец никогда не действовал так открыто, не бывал так самим собой с детьми, как вы. Вы никогда не представлялись перед нами, и каждый из нас был уверен, что вы именно такой, каким он вас знает. Даже мальчишки приготовительного класса это чувствовали и понимали, что вы всей душой и всем сердцем к чему-то стремитесь, что школа к чему-то ведет и что в ней есть жизнь. И нас, воспитанников Уолдингстантонской школы, когда мы потом встречаемся в жизни, связывает то, что мы понимаем друг друга. В нас заложено нечто, чего, по видимому, нет у многих других, которых видишь здесь, на фронте. Это не хвастовство, а простое констатирование факта, если мы говорим, что жизнь, к которой мы приобщились в Уолдингстантоне, для нас важнее, чем самое наше существование во плоти. И для вас это ведь тоже важнее.



И дело даже не в ваших способах преподавания, хотя преподавание это поразительное, а в чувстве, которое вы вкладывали в обучение нас. Этим вы нас так и увлекали. Мы понимали и чувствовали, благодаря вам, что прошлое мира вместе с тем и наше прошлое. Мы чувствовали, что входим в единую историю жизни с дикарями северных тундр и с египетскими жрецами, с воинами Цезаря и с испанскими алхимиками. Ничто не мертво и ничто не чуждо нам. Благодаря вам, открытия и ход цивилизации сделались для нас нашим собственным переживанием, и все грядущее представляется нам нашим наследием. Большинство тех, кого я здесь встречаю, чувствуют себя потерянными в этой войне. Они точно кролики, которых наводнение вынесло из их норок, а мы, Уолдингстантонцы, включили войну в труд своей жизни, и когда придет мир и начнется новая жизнь, она тоже войдет в историю нашего бытия, и труд нашей жизни вместит и новый мир. Сущность Уолдингстантона в том и состоит, что он выводит людей на большую дорогу, которая ведет вперед. Товарищи, с которыми я тут беседую, вышли из других школ, и они, вообще, ни на какой дороге. Они выносливы и смыслены от природы или благодаря общению с другими. Они бойцы и люди отважные. Но войну они выносят или потому, что она уже сделалась для них привычным делом, или следуя примеру окружающих, или же в силу разных ложных принципов, которым не продержаться до конца войны: во имя неопределенной преданности империи или желания наказать «варваров» и восстановить мир в Европе и тому подобных близоруких взглядов и понятий. Когда кончится война, им, при таких воззрениях, не с чем будет идти дальше. Если поговорить с ними о том, что будет после войны, то ясно видно, в какой тупик их завели учителя. Они умеют сражаться против и не умеют за. Кроме неосуществимого желания вернуться куда-то назад



и жить так, как они жили прежде, ни у кого из них нет и тени какой-нибудь руководящей идеи. Все значение Уолдингстантона в том, что он пробивает тупики и выводит на дорогу, по которой человек может идти дальше до конца своих дней: по этой дороге—бесконечная цепь людей, и он—один из них, и он—одно с Творцом. Именно в таком настроении все мы вернемся после войны к нашей прежней работе, которая, в конце концов, сольется в нечто единое и создаст подлинное мировое государство, мировую цивилизацию и новый строй мира. Но если бы мы не были уверены, что вы вернулись в Уолдингстантон и продолжаете работать, чтобы поднимать нас все выше, что вы готовы принять под свое попечение сыновей, которых мы вам скоро пошлем, то...»

М-р Хасс остановился и отложил письмо.

### § 3

Он лежал и думал лениво.

«Я как раз говорил о тупиках в тот день. Странно, что он употребляет то же слово.

Может быть, это из какой-нибудь моей старой проповеди... У меня наверно уже раньше была эта мысль...

По моему, воспитание можно вполне определить, как средство выводить мысли людей из тупиков...

Во всяком случае, это вполне допустимое определение...

Жаль, что я не могу яснее вспомнить тот наш спор. Я много говорил о подводных лодках. Сравнивал, кажется, весь мир с экипажем подводной лодки.... Это в общем верно. Каждый человек в тупике, если не пробить ему путь...

Странная у нас была беседа... Помню, что мне тогда не хотелось лечь в постель; все мысли были точно в огне...



А потом я видел сон.

Хотел бы я припомнить еще кое-что из этого сна. Это было так, как будто я получил возможность заглянуть за какой-то метафизический угол... Будто был в некоем величественном месте—говорил с Богом.

Но как можно говорить с Богом?

Нет. Не помню».

И мысли его вернулись к письму молодого Борроуса.

Он стал строить планы восстановления Уолдингстантона. У него была мысль отделать заново школьный дом и коридором, обвешанным географическими картами, соединить его с картинной галереей и концертной залой, которые, к счастью, уцелели. Карты он хотел развесить, чтобы, с одной стороны, указать на рост и смену империй в западном мире, а с другой—чтобы представить развитие географического знания и мысли в разные периоды истории человечества.

Как это часто бывает у крупных организаторов, вот такие его ленивые сны на яву часто бывали архитектурного свойства. Он увлекся затем другою игрой фантазии—тоже одной из самых своих любимых: он стал мечтать об устройстве ряда этнологических выставок, изображающих разные группы первобытных народов—в тройном виде; сначала маленькие их модели, пока они были в диком состоянии, потом образцы их ремесел и искусств, чтобы ознакомить с разновидностями их дарований и способностей, а затем разные планы того, какую роль каждый такой народ может играть в качестве художников или руководителей, или укротителей зверей уже в цивилизованном мире. Подобная коллекция была за пределами самых далеких возможностей, открытых Уолдингстантону, но ему приятно было помечтать...

Группы стояли бы в хорошо освещенных нишах, так сказать, в боковых часовнях музейного здания. Там же



будут стоять стулья и классная доска: он часто мечтал, чтобы школа помещалась в здании очень больших размеров, и классы учеников двигались в ней, как маленькие группы пилигримов в соборе...

От этой мечты он перешел к плану объединения больших школ для таких общих целей, как педагогическое применение кинематографа, центральная библиотека справочных книг и т. д.

Одна большая школа непременно порождает другую. Школы—нечто живое, и, как все живое, они должны расти и размножаться, идти от победы к победе—или подпадать под влияние Фарров и Дэдов и прозябать, хиреть, гибнуть. Но Уолдингстантон не погибнет. Он будет расширяться, будет сноситься с родственными ему школами за океаном и по всему миру... Он будет создавать и воспринимать идеи, множиться и развиваться...

На синем октябрьском небе плыли белые облака, и воздух был полон жужжанием пролетающего аэроплана. Цепная собака, которая прежде терзала нервы м-ра Хасса, лаяла попрежнему, но он не обращал на это внимания.

— Одну из часовен человеческих племен я бы хотел посвятить памяти Джильберта,—прошептал м-р Хасс.

#### § 4

Дверь—он лежал лицом к двери—открылась и вошла м-сс Хасс.

Казалось, что она появилась внезапно, а между тем она медленно вошла в комнату, сжимая в руке смятый комоч бумаги. Лицо ее изменилось самым необычайным образом. Оно было мертвенно-бледное, глаза широко раскрылись и блестели. Она стояла недвижно и казалось, вот-



вот сейчас упадет. Она даже не подумала закрыть за собой дверь.

Слышно было, как м-сс Крум возилась с кастрюлями внизу. Когда м-сс Хасс заговорила, она почти беззвучно прошептала:

— Иов!

У него была странная мысль, что наверно м-сс Крум потребовала, чтобы они немедленно с'ехали от нее, или устроила какую-нибудь грубость в этом роде. Жест его жены как будто подтверждал такое подозрение. Она как-то странно трясла смятую бумажку в руке. Он сделал нетерпеливое движение.

— Я не сразу открыла письмо,—сказала она наконец.—Я хотела сначала кончить завтрак. Я не решалась. Я видела, что письмо из банка и подумала, что это напоминание, что наш кредит исчерпан... И в то время...—Она заплакала.—В то время, как я ела яйцо...

— Да в чем же дело?

Она судорожно сдерживала слезы.

— От него.

Он смотрел на нее, ничего не понимая.

— Чек, понимаешь?—он дошел—от него. От нашего мальчика...

Он раскрыл рот и глубоко вдохнул воздух. У него выступили слезы. Он приподнялся, потом, почувствовав перевязку на ране, снова откинулся на подушку. Он протянул ей свою исхудалую руку.

— В плену?—спросил он задыхаясь.—Жив?

Она кивнула головой. Казалось, она хочет кинуться на него изо всех сил и обхватить его жалкое истерзанное тело. Руки ее повисли в воздухе—скорее бы что-нибудь обнять...

Потом она опустилась на пол в узком пространстве между кроватью и камином, украшенным бумажными



кружевами, и, схватив кончик одеяла, стиснула его в комок.

— О, мой мальчик!—рыдала она.—Мой маленький мальчик...

— А я такая скверная... Так настаивала на трауре... Такая скверная.

М-р Хасс лежал недвижно, как ему велел доктор, но спущенной вниз рукой он касался ее волос и гладил их.

*Перевод. Зин. Венгеровой.*



## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Предисловие <i>Евг. Замятина</i> . . . . .                            | 7— 12   |
| Глава первая. Пролог на небе . . . . .                                | 13— 22  |
| » вторая. Вилла «Морская Панорама» в Сандеринге-<br>на-море . . . . . | 23— 39  |
| » третья. Три посетителя . . . . .                                    | 40— 83  |
| » четвертая. Верно ли, что мы умираем? . . . .                        | 84—108  |
| » пятая. Элайю упрекает Иова . . . . .                                | 109—157 |
| » шестая. Операция. . . . .                                           | 158—168 |
| » седьмая. Письма и телеграмма . . . . .                              | 169—179 |



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ПЕЧАТАЮТСЯ И ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

К. ЛЕМОНЬЕ  
УОТ УИТМЭН  
Г. ГЕЙНЕ

— «Завод», роман.  
— «Листья травы».  
— т. VI. «Путевые картины».

Т. ГОФМАН  
ЛЯО-ЧЖАЙ  
ГЕТЕ  
ГОЛЬДОНИ  
В. СКОТТ  
УЭЛЛС  
БАРРИ  
ИЕНСЕН  
САУТИ

— «Музыкальные новеллы».  
— «Лисьи Чары».  
— «Фауст».  
— «Комедии».  
— «Черный карлик».  
— «Невидимка».  
— «Белая птичка».  
— «Ледник».  
— «Английские народные баллады».

К. МЕЙЕР  
ДЖ. ЛОНДОН  
ГЕТЕ  
МИЛЛЕР  
ГЮГО

— «Рассказы».  
— «Любовь к жизни».  
— «Вертер».  
— «Вильгельм Телль».  
— «93-й год».



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

БАЙРОН

»

»

»

»

»

— «Беппо».

— «Бронзовый век».

— «Дон-Жуан».

— «Каин».

— «Манфред».

— «Сарданапал».

НОВАЛИС

— «Генрих фон Офтер-  
динген».

ВЕРХАРН

— «Избранные стихи».

А. ФРАНС

— «Рассказы».

ДИККЕНС

— «Рождественские ко-  
локола».

Б. ШОУ

— «Пьесы».

ЗОЛЯ

— «Труд».

»

— «Вертеп».



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В целях ознакомления русского читателя с наиболее выдающимися произведениями иностранной литературы за последние годы — Издательство «Всемирная литература» приступило к выпуску серии

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В ближайшее время в этой серии выйдут:

- |                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Э. СИНКЛЕР     | — «100% или история одного патриота».               |
| П. БЕНУА       | — «Атлантида», роман.                               |
| К. ГАМСУН      | — «Соки Земли», роман.                              |
| К. МИХАЭЛИС    | — «Месть графа Сильвена», повесть.                  |
| Р. РОЛЛАН      | — «Кола Бреньон», роман.                            |
| С. ЛАГЕРЛЕФ    | — «Люди и гномы», рассказы.                         |
| В. ГЕТЦ        | — «Царство вне пространства», фантастический роман. |
| О. ГЕНРИ       | — «Избранные рассказы».                             |
| С. БРЖОЗОВСКИЙ | — «Зарево», роман из эпохи народовольцев.           |
| Г. ВЕРФЕЛЬ     | — «Виновен убитый», новеллы.                        |
| К. МЕЙРИНГ     | — «Зеленое лицо», роман.                            |
| Д'АННУНЦИО     | — «Ноктюрн», роман.                                 |

Вышло из печати:

- |          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| Ж. РОМЭН | — «Доногоо-Тонка», кинематографический роман. |
|----------|-----------------------------------------------|



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В непродолжительном времени выйдет № 1 издаваемого  
«ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ» иллюстрированного  
журнала

**„ВОСТОК“**

под ред. акад. С. Ф. Ольденбурга, акад. И. Ю. Крачковского, проф. В. М. Алексеева, проф. Б. Я. Владимирцова и А. Н. Тихонова.

В журнале—художественно-литературный, научный и критико-библиографический отделы, а также хроника жизни Востока и художественные репродукции с памятников восточного искусства.

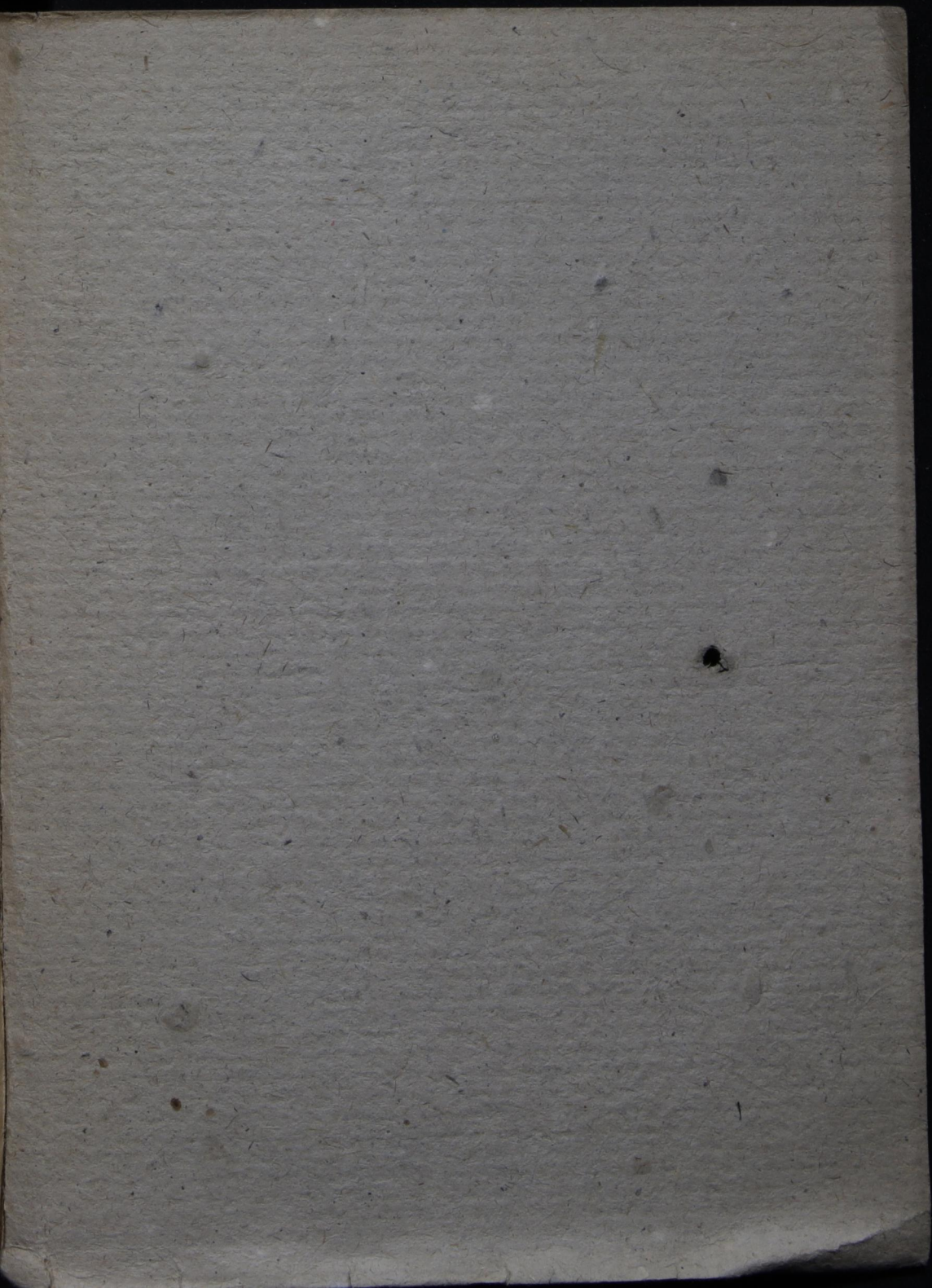
Готовится к печати № 1 издаваемого «ВСЕМИРНОЙ  
ЛИТЕРАТУРОЙ» журнала

**„СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПАД“**

под ред. К. И. Чуковского, Евг. Замятина и  
А. Н. Тихонова.

В журнале—переводы стихов и художественной прозы наиболее выдающихся из современных европейских писателей, обзор художественной жизни Европы, отчеты о новейших достижениях западной науки. В № 1, между прочим, будут напечатаны: Шпенглер «Пруссизм и социализм», роман О. Генри «Короли и капуста», рассказы Дюамеля, Рильке, статья Н. Радлова о современном немецком и французском искусстве и пр.







ИЗДАТЕЛЬСТВО  
„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“  
ПЕТЕРБУРГ  
Моховая №36.

---